



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

# АЛЬМАНАХ

“ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ”

1998

ЭЦ

84.2РосБ  
П54 ч

X V

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
**АЛЬМАНАХ**  
"ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ"

1998

ЛС

Таймырская  
кв-ужная  
Библиотека

0 4 5 7 9 1

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СЛОВО"  
г. Москва

Альманах издан по заказу Управления культуры  
Администрации Таймырского округа.

Издание альманаха ставит своей целью  
популяризацию творчества прозаиков и  
поэтов, драматургов и литературных  
критиков, проживающих на полуострове  
Таймыр или пишущих о нем.

Составитель: *Валентина ЗАВАРЗИНА.*  
Редактор: *Юрий ГРАДИНАРОВ.* Макет  
*Тимура АТА ЕВА.* Корректор: *Светлана*  
*ПЕТРОВА.*

Отпечатано с готового оригинал-макета в  
ОАО «Типография «Новости» 107005,  
Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

## СОДЕРЖАНИЕ

## ПОЭЗИЯ

*Евгений ТОЛМАЧЕВ*

Вечерняя элегия .....6

*Николай КОНОВАЛОВ*

Напиток страсти .....7

*Станислав ОКОЛЕСНОВ*

Вино, шампанское текло.....8

*Алексей РЕДЬКИН*

Пускай я ослабел сейчас... ..9

Ветер унес мой крик в ночи... ..9

В последний день, когда уйду... ..9

*Нина КОВАЛЬЧУК*

Из северных мотивов .....10

*Геннадий МЕДВЕДЕВ*

Ночь рогами месяца... ..11

Ну, куда ж мы идем, апостолы .....11

*Анатолий ЛЕВЕНКО*

Над белым листом... ..12

Только имя это стоит... ..12

На прощанье .....12

Тундры замшевой ровдуги... ..12

Моей королеве .....12

*Валентина ЗАВАРЗИНА*

Расплачиваюсь по счетам... ..13

Жемчужный свет и тишина святая... ..13

И вот сентябрь... ..13

*Владимир КАНТАРИЯ*

Всем уставшим хочется любви... ..14

Какое мне дело до сур из Корана... ..14

Мне было холодно... ..14

*Виктор ВОЩЕНКОВ*

Я не знал, что так можно любить... ..15

Ты в этот мир явилась добрым чудом... ..15

На душе и смутно, и угрюмо... ..15

Прости меня, но мне немного надо... ..15

Кто же ты, когда пришла, откуда... ..15

Года, года. Как птицы счастья... ..16

Когда вступают в силу холода... ..16

Под шум городской... ..16

*Людмила ЗНАЕВА*

Накануне юбилея .....17

Был век, как век... ..17

Я была неправа... ..17

Алексею .....17

*Елена ЯГУМОВА*

Лампа керосиновая светит... ..18

Оцепенение... ..18

Белая бессонница... ..18

*Юрий БАРИЕВ*

Часто во сне я вижу отца... ..19

*Сергей ЛУЗАН*

Я знаю, дни мои уходят... ..20

Продолжая улыбку на этой земле... ..20

Поздним вечером пишу письмо

Людмиле Знаевой в Молдавию .....20

Таежный вечер .....20

## ПРОЗА

*Сергей ЛУЗАН*

Сумасшедшие пейзажи. Рассказ. ....21

Слова живут, а люди уходят. Рассказ. ....22

*Анатолий САВИНОВ*

Однажды попросивший закурить. Рассказ. ....25

*Татьяна БЕГЛЕЦОВА*

Последнее лето детства. Рассказ. ....27

Осень. Рассказ. ....27

Соболек. Рассказ. ....28

Покорение Чай-Кита. Рассказ. ....29

*Александр ГРИГОРУК*

Тайная вечеря. Рассказ. ....30

*Владимир СОЛДАКОВ*

У моря Лаптевых, на Хатанге-реке. Рассказ. ....31

*Любовь НЕСТЕР*

Последняя сарабанда. Рассказ. ....33

*Виктор САМУЙЛОВ*

Простое задание. Рассказ. ....38

*Виктория БЕЛЯЕВА*

Волосы. Рассказ. ....48

*Владимир ЭЙСНЕР*

Макарова Рассоха. Рассказ. ....50

*Юрий ГРАДИНАРОВ*

По собственному желанию.

Продолжение повести. ....56

*Юрий МИРОНОВ*

В таймырских даях. Продолжение повести. ....68

*Николай ОДИНЦОВ*

На перепутьях тернистых дорог.

Отрывок из повести. ....77

## ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ ТАЙМЫРА

*Казимир ЛАБАНАУСКАС*

Звездные мифы в энецком фольклоре. ....85

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

*Галина КОЖЕВНИКОВА*

В предчувствии талантов. ....87

---

---

**Евгений ТОЛМАЧЕВ**

*Работает в Норильскгазпроме.*

*Публиковался в окружной газете “Таймыр”.*

*Живет в поселке Тухард.*

---

---

**ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕГИЯ**

Вечер шепчется листвою,  
Рдеет ниточка зари.  
В этот час, мой друг, со мною  
Своим сердцем говори.

Над притихшими полями

И над зеркалом озер

Тихо будет между нами

Течь безмолвный разговор

О разлуке, встречах, людях,

О ненастных вечерах,

И что было, и что будет,

И что делали вчера.

Вот и жизни половина

Пронеслась во мрак времен.

Не хочу искать причины

В том, что счастьем обделен.

Перед тем как кануть в вечность,

Одного лишь я хочу —

Вплоть до шага в бесконечность

Нам пройти плечом к плечу.

Я по той дороге длинной,

По житейскому пути,

В такт мелодии старинной

Лишь с тобой хочу идти.

---

---

**Николай КОНОВАЛОВ**

*Работает кочегаром в котельной  
Публиковался в окружной газете “Таймыр”.  
Живет в поселке Караул.*

---

---

**НАПИТОК СТРАСТИ**

Да, есть любовь! Но без любви  
Дань поголовно власти моды.  
Напиток страсти пригубив,  
Утеху ищем мы в породе.

В ней красота — души дурман,  
Язычество и фараонство.  
И скрыт естественный обман  
Очками темными от солнца.

Не так ли солнечный мираж  
В пустыне видится водою?  
И лишь божественный шалаш  
Наполнен вешей красотой.

Когда в глазах чудесный свет,  
Душа с душой на крест воздета.  
И в нежно-розовый рассвет  
Легит зеленая ракета.

---

---

**Станислав ОКОЛЕСНОВ**

*Родился в 1974 году в городе Дудинка. Студент Санкт-Петербургского юридического института.  
Публикуется впервые.*

---

---

\*\*\*

Вино, шампанское текло  
Ручьями, прямо в рот.  
Подруги светлое чело  
Звало на эшафот.  
Друзья чадили, дым в глаза,  
Кружилась голова.  
От сладких грез текли слова,  
Как темная вода.  
Я видел даль. Я видел высь.  
Весь в розовом плену  
И говорил себе: "Очнись!  
Иначе в тлен сойду".  
Но чадной страсти нет конца,  
И я опять приду  
Туда, где время без лица,  
А лица все в аду.  
Вино, шампанское течет  
Ручьями, прямо в рот.  
Подруги светлое чело  
Зовет на эшафот...

---

---

## Алексей РЕДЬКИН

*Коренной норильчанин.*

*Публиковался в газете “Заполярный вестник”.*

---

---

\*\*\*

Пускай я ослабел сейчас,  
Ко мне еще вернутся силы,  
И жизнь, струясь неторопливо,  
Подарит мне последний шанс.  
Иль не последний, может быть?  
В безликой круговерти судеб  
Моя несчастнее не будет,  
А будет белой птицей плыть.  
Плыть, невзирая на шторма,  
Волнения людского моря,  
Напасть печали, тяжесть горя,  
Что ей достанется сполна.  
Окончив свой тяжелый путь,  
Расправит сложенные крылья,  
Взлетит она легко и сильно,  
И мне ее уж не вернуть.

\*\*\*

Ветер унес мой крик в ночи.  
Время ушло — кричи не кричи.  
То, что потеряно, не вернешь.  
В чуждых глазах промелькнула ложь.  
Выдуло ветром из дома тепло,  
Греет камин и закрыто окно.  
Просто не стало в доме детей,  
В нем только я с пустотою своей.  
Гулко и тихо в доме моем.  
“Ветер, давай по стакану нальем”.

\*\*\*

В последний день, когда уйду,  
По мне заплачет горько дождь.  
На счастье, может, на беду  
Я знаю, ты меня не ждешь.  
Вода заполнит свежий след,  
Мне путь осветят фонари.  
Негромко будет ветром спет  
Печальный реквием любви.



---

---

**Алексей РЕДЬКИН**

*Коренной норильчанин.*

*Публиковался в газете “Заполярный вестник”.*

---

---

\*\*\*

Пускай я ослабел сейчас,  
Ко мне еще вернутся силы,  
И жизнь, струясь неторопливо,  
Подарит мне последний шанс.  
Иль не последний, может быть?  
В безликой круговерти судеб  
Моя несчастье не будет,  
А будет белой птицей плыть.  
Плыть, невзирая на шторма,  
Волнения людского моря,  
Напасть печали, тяжесть горя,  
Что ей достанутся сполна.  
Окончив свой тяжелый путь,  
Расправит сложенные крылья,  
Взлетит она легко и сильно,  
И мне ее уж не вернуть.

\*\*\*

Ветер унес мой крик в ночи.  
Время ушло — кричи не кричи.  
То, что потеряно, не вернешь.  
В чуждых глазах промелькнула ложь.  
Выдуло ветром из дома тепло,  
Греет камин и закрыто окно.  
Просто не стало в доме детей,  
В нем только я с пустотою своей.  
Гулко и тихо в доме моем.  
“Ветер, давай по стакану нальем”.

\*\*\*

В последний день, когда уйду,  
По мне заплачет горько дождь.  
На счастье, может, на беду  
Я знаю, ты меня не ждешь.  
Вода заполнит свежий след,  
Мне путь осветят фонари.  
Негромко будет ветром спет  
Печальный реквием любви.

---

---

**Нина КОВАЛЬЧУК**

*Живет в Хатанге с 1980 года.*

*Работает в аэропорту.*

*Публиковалась в окружной газете "Таймыр".*

---

---

**ИЗ СЕВЕРНЫХ МОТИВОВ**

Я люблю, когда дома тепло,  
Когда кошка мурлычет лениво,  
А за окнами — все замело,  
И ветер гуляет спесивый.

Что за счастье — уйдя от проблем,  
Заниматься домашней работой,  
Провожая еще один день,  
Ждать, когда ты вернешься с охоты.

Я огонь разведу, не спеша,  
В том, любимом тобою, камине —  
Пусть родная бродяжья душа  
В глубокой ночи не застынет.

Я люблю, когда вынут пирог  
Из духовки — большой, ароматный...  
Ты вот-вот переступишь порог,  
Чтобы вскоре уйти обратно.

Знаю, милый, что будет так,  
Но не стану таить я обиду,  
Когда вновь, собирая рюкзак,  
Ты наденешь свою "хламиду".

Я люблю посидеть у огня,  
Ты со мной — что сродни только раю.  
Вновь уходишь —  
С частичкой меня,  
И я снова тебя отпускаю.

---

## **Геннадий МЕДВЕДЕВ**

*Уроженец Челябинской области.*

*По молодежно-комсомольскому призыву  
приехал на строительство газопровода  
"Мессояха — Дудинка — Норильск".*

*В настоящее время работает в Норильскгазпроме.*

*Публиковался в окружной газете "Таймыр".*

*Живет в Дудинке.*

---

\*\*\*

Ночь рогами месяца  
Тронула зарю.  
Нежность утра раннего  
Я тебе дарю.  
Светит зорька росная  
Бликом на щеке.  
Ты лежишь притихшая  
На моей руке.  
Разметались волосы  
В смятые цветы.  
Стала мне единственной  
На рассвете ты.

\*\*\*

Ну, куда ж мы идем, апостолы,  
Бога славы, плода нищету?  
Куда движемся пьяною поступью,  
В темноте слепо шаря мечту?  
    Покажите мне новое царствие,  
    Где ворью тяжело на душе  
    И политиков — бездарь гусарскую —  
    Просто русские гонят взащей.  
Все проели, пропили, профукали.  
Осуждать — нынче тягостный грех.  
Где Христос, чтобы с новыми муками  
На Голгофу подняться за всех?!

## Анатолий ЛЕВЕНКО

По профессии журналист. Автор сборников стихов "Зимняя вишня" (1994 г.), "Тридцать три" (1995 г.). Печатался в альманахе "Полярное сияние" (1997 г.), в окружной газете "Таймыр". Живет в Дудинке.

\*\*\*

Над белым листом  
часто  
                        грезил я,  
восхищаясь  
в строке  
                        тобой.  
И спросил я с надеждой:  
"Это  
                        поэзия?"  
А ты отвечала:  
"Это любовь!"

\*\*\*

Только имя это стоит  
услыхать —  
Ты в памяти-зеркале  
                        вся отразишься.  
О ком-то я думал  
                        в стихах.  
О тебе — сразу в четверостишьях.

### НА ПРОЩАНИЕ

Поцелуй твой  
                        прощальный  
  скуп —  
на щеке апельсиновой долькой.  
А на стыках рельсов  
                        электрички  
  стук:  
"Не забудь меня только".  
У тебя здесь останется  
                        друг.  
Пусть смешной  
                        и непонятый  
  толком...  
А на стыках  
                        рельсов электрички  
  стук:  
"Не забудь меня  
  только..."  
И только.  
И только.

\*\*\*

Тундры замшевой  
                                ровдуги  
Стелют осенью  
                                ветры-маги.  
Собираю предзимние  
                                радуги  
на расцветку  
                                серой бумаги.  
Стынь отбелит  
                                синь неба,  
  крадучись,  
облака превратит  
                                в снеговые  
  холсты.  
Сохранят для меня  
                                чувства-радуги  
Те глаза, что открыто  
                                чисты.

### МОЕЙ КОРОЛЕВЕ

Ты похожа на колосок  
озаренных утром пшениц,  
как он строен и как высок...  
Джентльмены, падайте ниц!  
  
Сколько молний, сколько бесов  
из-под длинных твоих ресниц.  
Каждый жест королевски весом...  
Джентльмены, падайте ниц!  
  
Умывалась, видно, росой  
Луговых цветов, медуниц.  
Перед этой живой красотой,  
Джентльмены, падайте ниц!  
  
Если сердца стук в унисон,  
То, не зная преград, границ,  
Я б снегами к тебе брел босой...  
Джентльмены, падайте ниц!

---

---

### Валентина ЗАВАРЗИНА

*По профессии журналистка.  
Публиковалась в окружной газете “Таймыр”,  
альманахе “Полярное сияние” 1997 года.  
Живет в Дудинке.*

---

---

Расплачиваюсь по счетам —  
За ветер с южных гор,  
За тишины бальзам,  
За тундровый простор,

За музыку холстов,  
За голоса друзей,  
За легкость верных слов  
В газетной полосе,

За свет родимых глаз,  
За сына и за дочь,  
За то, что не угас  
Костер надежды в ночь,

За радость и печаль,  
И за полеты сна —  
За все, чего мне жаль,  
За всю плачу сполна.

\*\*\*

Жемчужный свет и тишина святая.  
Не дрогнет лист и эхо не вспорхнет.  
И белых чаек призрачная стая  
Устало спит на синем штиле вод.

Без тени ночь, без звезд и темноты.  
Качает август белизну на сводах.  
И даже ветру приступ немоты  
На этот час назначила природа.

Уснуло солнце где-то очень близко —  
Его лучи с рассветом лишь лови.  
И пишет ночь историю на свитках,  
Историю рожденья и любви.

\*\*\*

И вот сентябрь. Отпыхало лето.  
Заря с зарей расстались до весны.  
И стали мокрыми глаза у стекол где-то,  
И стали ночи траурно длинны.

И облака наполнены печалью,  
И ветра вой, переходящий в свист.  
И взгляд, обманутый зеленой далью,  
Вдруг натолкнется на багряный лист.

Осенний холод освежает лица,  
Короче и туманней новый день...  
Несется временная колесница,  
Студеную на тундру бросив тень.

---

---

**Владимир КАНТАРИЯ**

*Родом из Грузии. На Таймыре с 1973 года.*

*В 1994 году издан сборник его стихов*

*"Верните мне мое..."*

*"Печатался в окружной газете "Таймыр";  
в альманахе "Полярное сияние" 1996, 1997 годов.*

---

---

Всем уставшим хочется любви.  
Для покинутых желанней нет приюта.  
Видно, время между мной и Бо-дзю-и —  
Самая бесценная валюта.

Я любовь, воскресшую, на крест  
Увожу, казня себя и воя.  
Если в этом промысел и перст,  
Значит, я — свеча у аналоя.

Я, как все, в огне своем сгорю  
Не слепым, но, видно, и не зрячим.  
Даром божьим, как дурак, сорю,  
Даром божьим, божий одуванчик.

\*\*\*

Какое мне дело до сур из Корана,  
Я их все равно позабыл,  
Я жизнью своей врачевал свои раны,  
Я сам себе лекарем был.

Гудком паровозным в проклятых тоннелях  
Под сводом просаженым глох.  
Я видел распятым на бледных панелях  
Тоскливо сорвавшийся вздох.

Я видел столы, где селедка ржавела.  
И билось в истерике дня  
Под рваным халатом торговое тело,  
Серьгою рублевой звеня.

Я видел не то, что хотелось нам видеть!  
Но был режиссер мой суров:  
Он дергал умело за тонкие нити  
И роли давал нам без слов.

\*\*\*

Мне было холодно. Я мерз.  
Метафор бред был неожидан.  
Тащили душу на погост,  
И друг под зека был острижен.

Конец терпенья. В двери стук.  
Начало и конец эпохи.  
Ищу глазами сук и крюк,  
Молясь на выдохе и вдохе.

Не отрекаясь от судьбы,  
С судьбою заварил я свару.  
Вы господа и вы рабы,  
А я у вас седой волчара.

**Виктор ВОЩЕНКОВ**

Родился в 1944 году в Смоленской области.  
Автор поэтического сборника "Три судьбы".  
Член Союза журналистов России.  
Живет в Дудинке.

**ЛЮБИМОЙ...***И мне...*

Я не знал, что так можно любить,  
До отчаянной боли, до стога,  
Когда больше не хочется жить  
Без улыбки ее удивленной.  
Когда, кажется, весь этот свет  
Лишь на ней всюду сходится клином,  
И душа, как холодный рассвет,  
Истекает тоской журавлиной.  
Когда тундра опавшей хвоей  
Укрывает в осенних объятьях  
И слова, и обиды ее,  
И следы, что мечтал целовать я.  
Так зачем же уходит она?  
Может быть, чтоб порою ночью  
В самых горьких негданных снах  
С новой болью предстать предо мною?  
Чтобы снова страдать за нее,  
А потом, все прощая, молиться:  
Да святится же имя твое,  
Моих сказок волшебная птица...

\*\*\*

Ты в этот мир явилась добрым чудом,  
Дыханьем ветра в предрассветный час,  
Ну разве я когда-нибудь забуду  
Печаль твоих осиротевших глаз,  
Улыбки грустной робкие мгновенья,  
Застенчивость неброской красоты,  
Когда они с мольбой и с удивленьем  
Вдруг освещают все твои черты,  
И вся душа негданно, пугливо  
Лучом заблудшим оживает в них?  
О, господи, ну как же ты красива,  
Любимая, бываешь в этот миг!  
И кажется, растут земные силы,  
Звенящей песней молодеет кровь,  
И свежесть губ доверчивых и милых  
Вливает в душу мне свою любовь.  
И вот уже нет смерти и рожденья,  
Лишь восхождение звездной высоты,  
Которая, как вспышка пробужденья,  
Несет и боль, и радость красоты,  
И ту мечту, где ты живешь, родная,  
И наших сказок дивную страну,  
И миг любви, который мы рожаем,  
Чтоб вечно гибнуть у него в плену.

\*\*\*

На душе и смутно, и угрюмо.  
Ты меня, любимая, прости:  
Я тебя, наверное, придумал  
На своем запутанном пути.  
Может быть, и не было на свете  
Незабудок глаз твоих родных,  
Что пришли с июньским разноцветьем  
Из чужой диковинной страны.  
И не я знобящую прохладу  
Пил из губ любимых в жгучий зной,  
И твоё шемящее: "Не надо..."  
Это было, было не со мной.  
И не ты чарующею птицей  
Залетела в мой забытый дом,  
Чтобы сердце, вымыв, как светлицу,  
Сделать добрым сказочным гнездом.  
А потом... Как все могло случиться,  
И сейчас не понимаю я?  
Почему любви моей жар-птица  
Улетела в дальние края?  
Как же быть? Кто мне на то ответит?  
Почему, когда исчезла ты,  
С той поры не так и солнце светит,  
И весь мир мне кажется пустым.  
Почему?  
Все смутно и угрюмо...  
Ты меня, любимая, прости:  
Я тебя, наверное, придумал  
На своем запутанном пути.

\*\*\*

Прости меня, но мне немного надо,  
По сути говоря, всего одно:  
Чтоб в слепоте таймырских снегопадов  
Светилось иногда твоё окно.  
И я бы знал, что ты живешь на свете  
И что в рассветный запоздалый час  
Тебя целует заплутавший ветер,  
А небо гасит боль любимых глаз.  
Я этот свет ищу в часы разлуки,  
В часы обид с бедою пополам,  
Чтобы родные зябнувшие руки  
Прижать к своим обветренным губам.  
Зажечь зарю из разноцветья радуг,  
Шаманским бубном раззадорить страсть,  
Чтобы затем веселым снегопадом  
В твои ладони, милая, упасть.  
...И пусть бушуют за окном метели,  
Роняет небо звезды с высоты,  
Ты поутру увидишь у постели  
Моей любви осенние цветы.

\*\*\*

Кто же ты, когда пришла, откуда  
Тем осенним быстротечным днем,  
Чтобы после горечью остуды  
Навсегда заполнить мой дом?  
Чтобы мир мой, зыбкий и пустынный,  
Без тебя совсем осиротел,  
И душа оттаявшею льдиной  
Вновь окаменела в мерзлоте?

Для чего, скажи, ты отогрела?  
 Мое сердце в том волшебном сне,  
 И свое чарующее тело  
 Нежной сказкой подарила мне?  
 Что же ты хотела, что искала,  
 Голову прижав к моей груди?...  
 Чтоб потом счастливо и устало,  
 Не прощаясь, навсегда уйти...

## ПОСВЯЩЕНИЯ...

Катюше...

Года, года, как птицы счастья, мчатся,  
 Как ласточки, скользят на вираже...  
 Тебе пока всего еще шестнадцать,  
 Хотя ты гордо говоришь уже...  
 На журавленка хрупкого похожа,  
 Не знавшая беды и высоты,  
 Ты в жизнь спешишь, опаслива до дрожи,  
 В смятении от любви и красоты.  
 И, может, оттого, что все не просто,  
 И не понять, где есть добро и зло,  
 Родную маму догоняя ростом,  
 Ты к ней нет-нет и жмешься под крыло.  
 Свои мечты и беды доверяешь,  
 Хотя порой не веришь в те мечты,  
 И красоту девичью отрицаешь,  
 Еще не зная, как красива ты!  
 Кусочек солнца, звездочка ночная,  
 Дыханье ветра в зорях золотых,  
 Наступит день, и ты поймешь, родная,  
 Что этот мир рожден для красоты  
 И для любви, до боли и до страсти,  
 И, может, потому седой Таймыр  
 Тебе отдать готов сегодня, Катя,  
 Весь этот звонкий до озноба мир,  
 Чтоб светел был твой добрый День рожденья,  
 Чтоб исполнялись все твои мечты  
 И снизошло к тебе Благословенье  
 Добра, Любви и Чистой Красоты.

\*\*\*

Г. П. Н. ...

Когда вступают в силу холода  
 И ночь кочует по становьям древним,  
 Ему все реже снятся города,  
 А чаще — та, погибшая деревня.  
 Он много видел в жизни разных стран,  
 Больших столиц и небольших немало.  
 Моря, и реки, даже океан  
 Его стезя не раз пересекала.  
 И все же край, где он когда-то жил,  
 С росой черемух, с тихими ночами,  
 Всегда носил он в глубине души,  
 Закрыв ее горячими Ключами.  
 А в тех Ключах — частушек перезвон,  
 Полей невозвратимое раздолье,  
 Паденье звезд и журавлиный стон —  
 Ну, в общем, все, что мы зовем любовью.

Как эти годы стали далеки!  
 Старушка-мать ушла в соседний город,  
 Почти что вслед за ней — на дно реки  
 Ушли Ключи, как древняя Матера.  
 Он и сейчас от родины вдали,  
 Вдали от пашен, песенных раздолий,  
 И плач родной израненной земли  
 Его тревожит до сердечной боли.  
 И лишь порой в мерцании ночном,  
 Когда с отливом отступает море,  
 К нему опять приходит старый дом,  
 Тот, что отец сложил на косогоре.  
 Припомнит он рябину у окна,  
 Поникший сруб замшелого колодца,  
 И, может быть, в который раз весна  
 К нему из давней юности вернется,  
 Где в глубине живого родника  
 Тоскуют звезды по его ладоням,  
 И бродит в тишине березняка  
 Тревожащая музыка гармонии...  
 ...Мелькнет на миг падающая звезда,  
 Луна опустит крылья на деревья,  
 И, может быть, уснувшим городам  
 Приснятся детства давнего деревни...

\*\*\*

С. Н. П...

Под шум городской часто в раннее утро  
 Приходит к нам вновь, что не вспомнить нельзя:  
 Далекое детство, олени и тундра,  
 А рядом мальчишки — короче, друзья.  
 Оленьи глаза и тепло, и туманно  
 Несут растревоженный девичий взгляд,  
 Где тундра, как важенька, плачет барганом,  
 Отбившись от стада молочных телят.  
 Сберечь бы поэзии этой мгновенья...  
 Но город, как молох, уклады сломав,  
 На тундру пошел, словно бык, в наступленье  
 И в стойбищах наших настроил дома.  
 И, видно, кому-то так было и надо,  
 Чтоб дымом плевался на тундру завод,  
 Редело оленьи рогатое стадо  
 И был норильчанином оленевод.  
 А там, где мы маут сплетали руками,  
 Над лунками звонких оленьих копыт,  
 Смыкались бетон и бесчувственный камень,  
 И шел в исполком вековой следопыт.  
 ...О город машинный! Ты правишь победу  
 И душишь охотника и рыбака —  
 Вот только беда, что бывлым самоедам  
 Сегодня без рыбы и мяса — тоска.  
 А жаль, что с годами не стал ты добрее,  
 Вращенный на нашей земле комбинат,  
 За это хоть раз звездануть бы хореем  
 В твой медно-бесчувственный лоб... или зад.  
 Чтоб вспомнил ты тундры таймырской просторы  
 И с нею достиг чудотворных вершин,  
 Но ты все ломаешь с привычным напором,  
 Тараша глаза ошалевших машин.



## Людмила ЗНАЕВА

Норильчанка. Публиковалась в "Красноярском комсомольце", "Заполярной правде", альманахах "Кодры", "Енисей".

### НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Этот плед я выткала сама,  
Чтобы было чем зимой укрыться.  
Видишь, в центре золотая птица,  
Видишь, по краям пуржит зима.  
Как смогла, сумела, прожила  
И судьбу стреножить не хотела:  
Я летела, падала, летела  
И почти совсем сошла с ума.  
Но умела ткать, да, видит Бог,  
Я умела ткать к судьбе дорожку,  
И мечту о будущем и прошлом  
Постелила на чужой порог.  
И теперь я завернулась в плед,  
Вытканый любовью и судьбою,  
И к звезде, что светит надо мною,  
Выверяю свой последний след.

\*\*\*

Был век как век, как сто веков  
Отныне и как сто донныне.  
Глядели в небо сквозь пустыни  
Глаза творцов и дураков.

Катился запотевший люд  
От мрака к мраку сквозь кручины,  
Ворчал, наращивал морщины  
И в драках был отменно лют.

И мнились бедному ему  
Непревзойденные чертоги,  
Где грозно восседали боги,  
Наславшие на землю тьму.

Ах, сырый мой, в котором я,  
Случившись, снова жизнь взрастила  
И, как ни билась, не постигла  
Извечной тайны бытия.

Зачем, за что один гноит  
Другого в этом мире зломном,  
И отчего на месте лобном  
Опять безвинных тьма стоит?

\*\*\*

Я была неправа,  
Я роняла слова,  
Словно плети.  
Но, насколько могла,  
Я в себе берегла  
Праздник смерти.  
Падал солнечный луч,  
Был он зол и колюч,  
Но искрился.  
Он возник из-за туч,  
Беспощаден и жгуч,  
Но разбился.  
Я осколки в горсти  
Протянула — прости,  
Поумнела.  
Ты сумеешь спасти,  
Чтоб опять обрести  
Праздник тела.  
Помоги, соверши  
Этот праздник души,  
С укоризной.  
Боль мою сокруши  
И во мне заверши  
Праздник жизни!

### АЛЕКСЕЮ

Прости меня, мой сын,  
прости за ложь,  
Ту, от которой я  
не защитила.  
Прости за то,  
что ты рабом живешь  
В любви фальшивой  
и в стране фальшивой.  
Душа моя и плоть,  
мой сын — мой Бог,  
Тебя несла я миру  
сквозь столетия  
Неужто лишь затем,  
чтоб править мог  
Тобой любой дурак  
на этом свете.  
Неужто лишь на тем,  
чтоб этот мир  
Глумился над тобой,  
коверкал душу,  
Чтоб ты был слаб,  
чтоб ты был наг и сир  
В смирительной рубашке  
простодушья.  
Любовью —  
средоточьем всех стихий,  
Когда последней болью  
отболею,  
Пусть защитят тебя  
мои стихи.  
Я большего на свете  
не имею.

**Елена ЯГУМОВА**

Родилась в 1949 году.

Публиковалась в четырнадцати изданиях и коллективных сборниках.

Среди них журналы "Октябрь", "Москва", "Новый мир", "Литературная газета", еженедельник "Неделя" и другие.

Живет в Норильске.

\*\*\*

Лампа керосиновая светит,  
копошится за порогом сад.  
Почему все бабочки на свете  
не к звезде, а на огонь летят?

Плоское раздвоенное пламя  
с ненасытной тупостью змеи  
кормит восхищенными крылами  
недра первобытные свои.

Крылышки пергаментные бьются,  
дребезжат о тонкое стекло.  
Пепел осыпается на блюдца,  
тонким пеплом сад мой замело.

И никто на свете не узнает,  
для кого всю ночь огонь горел,  
без кого весь свет мне опустел:  
теплым пеплом душу замедает.

1997 г.

\*\*\*

Оцепенение.  
Ночь, как зрачок, глубока,  
зверя наскального  
в древней пещере беззвучней.  
Так тяжело  
и такая на сердце тоска...  
Вырвать бы сердце,  
да ангел грозит из-за тучи.  
Что ты, Пернатый,  
ну что ты страшась, скажи?  
Ну заблудилась,  
ну утомилась от стада.  
Знаешь, какие на воле бывают закаты,  
знаешь, какие над степью  
дрожат миражи.  
Знаешь, как бьются в песке  
куполки родника,  
будто трепещет бескостное темя ребенка,  
а припадешь  
и едва доживешь до глотка —  
под языком у земли не оскал ледника:  
там, между небом и небом, сквозная воронка.  
И, превратившись в сплошной  
задохнувшийся рот,  
не выпиваю — врастаю в дремучую влагу.  
Будто не я,  
а земля из души моей пьет,  
но сквозь меня ее лютая нежность течет —  
не одолеть нам друг к другу  
смертельную тягу...

1996 г.

\*\*\*

Белая бессонница, а читать невмочь.  
Во все окна ломится полнолунием ночь.  
Иглами колючими лед в стекле кипит.  
Лунные излучины, пляски nereid.  
Лунное игральное в океане льдов —  
вечное ристалище смертных и богов.  
Тонут льды разбитые, сотрясая дом.  
Звезды опрокинуты, плавают вверх дном.  
Дикую Полярную в Мировой Реке  
чашей пировальной Бор зажал в руке.  
Свой нектар бессмертия из луча Звезды  
раз в тысячелетия Он пролил на льды.  
Раз в тысячелетия — пляски nereid,  
раз в тысячелетия — лед мальков кипит.  
Раз в тысячелетия в лунный календарь  
разгадать бессмертие звездный дан словарь.

1996 г., март.

---

---

## Юрий БАРИЕВ

*Родился в 1948 году в Норильске.*

*Закончил Литературный институт имени Горького.*

*Автор трех поэтических книг: "Северная почта",*

*"Очертание ветра", "Морозные метаморфозы".*

*Составитель и один из авторов антологии*

*"Гнездовье вьюг".*

*Член Союза писателей России.*

---

---

\*\*\*

Часто во сне я вижу отца.  
Он приходит,  
напротив садится.  
А вокруг —  
молчаливые лица.  
Множество лиц...  
моего же отца.  
Вот уже скоро  
исполнится сорок  
северных весен мне,  
северных зим.  
Только отец,  
с молчаливым укором,  
так и запомнился мне  
молодым.  
Сын мой подрос,  
но не додано мной  
сыну, быть может,  
простого участия.  
Я не принес  
и жене своей счастья,  
Вот и седины подкрасила хной.  
День недалек,  
когда траурно медь  
будет звучать  
на моих проводинах.  
— Что же мне делать?  
Что же? Ответь.  
Сын и отец — не всегда ли едины?  
Так и живу — "продолженье твое".  
Твои лучшие мысли  
не воплотил я.  
Это вина моя —  
неоплатима,  
Не порастет,  
как могила, быльем...

## Сергей ЛУЗАН

*Родился в Благовещенске. Свыше двадцати лет живет на Таймыре. Работал рыбаком, охотником-промысловиком, журналистом.*

*Автор сборников стихов "Волчья звезда", "Долина семи солнц".*

*Лауреат литературной премии Огдо Аксеновой за 1997 год.*

Я знаю, дни мои уходят,  
Как рюмка водки натощак.  
Глоток таинственной свободы,  
До истины последний шаг.  
И чад последней сигареты,  
И шалость мимолетных губ,  
И, может быть, на белом свете  
Я повторюсь когда-нибудь.  
На пляже белом, как пустыня,  
Под пальцами твоих лучей  
Так долго стыли и остыли  
В снегах слова моих кровей.

1997 г., январь.

\*\*\*

Продолжая улыбку на этой земле,  
Я повесил пальто на чужом помеле.  
И оно пролетело сквозь тысячу трав.  
Все подумали — сдохну, а я умирал.

Закачавшись, однажды сказало пальто:  
"Я реальнее — ты, белолага, никто..."

Время молча бредет,  
И пусты рукава.  
В правде истины мало,  
И смерть не права.

\*\*\*

*Поздним вечером пишу письмо  
Людмиле Знаевой в Молдавию*

В день Валентина, в груди бумаг,  
Старые строки всплывают, как нельмы.  
Маг для поэтов  
И маг для бродяг  
Льет сквозь пространство  
Лиловые тени.  
Стопган, Людмила, мой правый  
Сапог.  
Левый сапог с каблуком распростился.  
Так и хожу по земле, видит Бог,  
Не исписался, не сдался, не спился.  
Ветер твой также  
В ушелье заполз.  
Пролежни снега, камней и угара.

Брат твой по крови, улыбчивый  
Волк,  
Между времен —  
В мире новом и старом.  
Людочка, белое пламя у нас.  
Юра Бариев, Летягина Галка...  
Юные девочки радуют глаз:  
Скучно таскаться и выбросить жалко.  
Стынут,  
цветут абрикосы огней.  
Тот же проспект.  
Имя лысого дядьки.  
Чувство тревоги,  
Со звоном цепей,  
Музыка и телефонные дятлы.  
Людочка, милая Людочка, мы...  
Песня пороши  
Лежит на асфальте.  
Я поцелую твой голос из мглы  
Просто на память,  
На горечь,  
На счастье.  
Милая Людочка,  
Годы летят...  
Юра Бариев, Ягумова Ленка,  
Нонин, Абдулина и Трофименко.  
Ветер...  
Поэты...  
А годы летят.

\*\*\*

## ТАЕЖНЫЙ ВЕЧЕР

Солнце сначала застыло у кромки  
Озера,  
А потом, прощаясь со своим двойником,  
Рухнуло в голубую тайгу!  
Стволы кедрача голубели даже на ошупь.  
Белое небо перебирало хвою,  
Солнце упало прямо на поляну,  
Стебли иван-чая сначала потемнели,  
А потом вспыхнули,  
Превращаясь в струи пламени.  
Горела рябина, горели головки кровохлебки,  
И горела беззвучно тишина.  
Только постанывала в этой тишине  
Беспутная старуха кукушка  
О своей неизбывной печали.  
Пламя упавшего солнца превратилось  
В святую ветку кедрача,  
Окутав ее желтым нимбом.  
И святыми стали древние стволы.  
И я опустил на колени,  
Склонив голову,  
И молился над каплей вечерней росы.

## СУМАСШЕДШИЕ ПЕЙЗАЖИ

Три вещи я любил, люблю и буду любить, пока жив. Это Свобода, Океан и Север.

В свое время я попал в черные списки, меня лишили визы и лишили Океана. Остались только воспоминания, горьковатые, как вода Тихого.

Аляскинский залив, Ванкувер, Мексика, Гавайи, привычка к палубе и раскачивающееся звездное небо... Я долго не мог прийти в себя, мотался по европейской части Союза, пока судьба не свела меня с Брониславом Кашкиным, и я уехал в Норильск, точнее на Таймыр. Я благодарен до сих пор этому горняку, который, сам того не зная, помог мне преодолеть мгновения возможной последней точки.

В тундре есть что-то от океана. Она постоянно меняется, и она так же прекрасна. Вообще, большая часть людей редко поднимает голову, вглядываясь в мир, в звезды, в покой или в стихию. И самое удивительное, что все остальное в жизни — заплавленный в рулоны рубероид. Он никому не нужен, а время жизни, труд затрачены.

Вот я и называю Жизнью только секунды встречи с необычной, сумасшедшей, космической красотой.

### Музыка цвета

В начале семидесятых я кочевал с оленеводами по левому берегу Енисея в районе Пандомаяхи. Июнь уже надвигал теплое небо, но снег еще лежал, и озера только-только приоткрыли веки, а воздух уже пропитался птичьим свистом, шелканьем, шорохом. На взгорке петушились турухтаны, бубнил далекий лебедь, а ветви лиственницы подернулись тонкой линией зеленой дымки. Царил какой-то достаточно привычный земной весенний хаос. Это, конечно, все красивенько, но от обыденности дыхание не перехватывает. Вкусная вода? Ну, вкусная. И забыл о вкусной воде, и о дерущихся турухтанах, и о лебеде тоже.

Я не торопясь пошел к дальним песчаным буграм, на которых часто вспыхивают в косых солнечных лучах крупные и яркие сердолики. Июнь раскалывался на солнечные осколки, они увязали в еще мерзлых песках и сочно светились издали, как янтарь, но, пожалуй, чуть ярче.

Я сел на поваленное дерево и почувствовал, что чего-то жду. Непонятно чего, но жду напряженно и остро. Такое ощущение, что сердце замирает, и ждешь с тревогой следующего удара. Прямо под ногами свободно дышала древняя земля, с ее неизведанными тайнами, загадками и не прерывающейся миллионы лет жизнью. Я думал о жизни камней и неожиданно понял, что вокруг все изменилось и замолкло.

Тишина шуршащая, Тишина как вздох бесконечности. Меня окутывал платиновый туман. Он извивался спиралью, обвивал валуны, корни корявых лиственниц и затекал в мерзлотные трещины. Гирлянды прозрачных белых удавов раскачивались в танце вокруг меня. И, что самое удивительное, туман был плотным, волокнистым и в то же время прозрачным, вернее полупрозрачным. Хаос исчез. Исчезли все птицы. Они притаились, замерли, замолчали. Вдруг снова, как-то сразу, вокруг проступило солнце. Не пятном, а рассеянным светом. И каждую линию, каждую веточку, каждую травинку и камень обволокло тонкими, примерно

сантиметра три-четыре, радугами. Весь мир объединили радуги. И руки мои тоже, и резиновые сапоги, и рукоятку ножа, и, наверное, душу.

Хаоса никакого не было. Семь звуков цвета. Орлан, взмахивая огромными крыльями, завис над верхушкой лиственницы. И крылья продолжались радужными завихрениями. Он сел совсем рядом, и радуга успокоилась на нем. Орлан повернул голову в мою сторону, чуть вытянул шею, и в это время раздался мощный шелестящий звон — рухнула под обрывом в берег протаявшая копыями глыба льда. И что тут началось!

Словно вихрь звуков пронесся, разбрызгивая горячую пену над землей. Хаос снова торжествовал, но это уже был не хаос, а финал необычной музыки существования. Орлан сидел рядом и спокойно смотрел на меня и на Вселенную. Радуги и туман исчезали так же внезапно, как и появились.

### Розовая пурга

Надо было спешить. От Нижнего Аккита до Верхнего, небольших речушек, когда-то впадавших в порожистую Хантайку, а сейчас в Хантайское водохранилище, по береговой линии у меня стояли капканы на соболя. По мертвому лесу лыжня еще не была занесена, и хотелось бы поменьше пыхтеть, прессуя лыжами новый снег.

А дело шло к этому. С юга, со стороны Кулюмбе, тянуло грязную марлю. По небу тянуло, ветер начинал пробовать плечо, наваливаясь справа, а потом, после поворота, он должен был давить в спину. И так — все сорок километров. По хорошей лыжне — день плотной работы. Нормальная тропа. Затягивало небо полосами, словно несло по голубому марлевым тюки, и они раскручивались в рваные удлиненные лохмотья. Солнце не поднялось, день еще только-только пытался переваливать к февралю. Я был в форме и шел очень легко. Камусины на лыжах гасили скрип снега, и только тихое аханье дыхания шло вместе со мной.

Не успел я до пурги проскочить. Только завернул за мыс, как понесло тяжелые, даже чуть теплые хлопья неожиданного для января снега.

Он был теплый даже на ощупь. Хорошего мало. Сейчас завалит лыжню в мертвом лесу. Там ветра почти не будет, и оттепель задаст работенки. Придется ночевать в промежуточной избе. Тоже обычное дело. Хорошо, что не в снегу. В снегу я ночевать не люблю.

Так думал я, прибавляя шаг. И в этот момент в марле заплескалось солнце. Огромное и плоское, вытянутое по горизонту, и лучи от этого солнца были холодные. Холодные, как северо-восточный ветер. Оно поднималось не медленно, как обычно, а ударило по отрогам Путоран, как огромный таймень розовым хвостом, и все сразу — сугробы, завалы, лед, летящий снег — стало розовым.

Эх, какая пурга прошла! Снег сразу стал жестким. Он не задерживался в лыжне, он не задерживался под корягами. Его несло параллельно земле, и даже казалось, что его несет чуть вверх. Все было розовым. Я уже летел над землей в розовом сиянии, над штормовыми застругами! Я был в любимом океане, и к черту берег! Дышалось легко и еще хотелось дышать.

А розовые волны неслись над мертвым лесом. И лес ожил. Он задвигался, застонал, как немой, пытающийся

сказать вслух слово "Бог". А меня несло над землей, и не было в тот момент для сердца ничего невозможного. Я даже пытался замедлить шаг, чтобы продолжить это состояние, а розовая пурга все так же несла меня с юга на север по Могоктинскому заливу и дальше, в бесконечность.

И даже на Верхнем Акките, у своей основной избы, вгоняя рабочий топор в колоду, — не от одиночества и не от усталости, а от розового прибора в груди — крикнул: "Да разве я не живу на этой земле?"

Разве не живу?

### Падающее небо

Черт его знает, что творится с погодой. Еще вчера ночью была тишина идеальная, видимость километров на пять, как днем. А сегодня ночью балок шатает, труба печи гремит. Хорошо, что не поленился по безветрию подняться в два часа ночи и дополнительно окопать снегом свое жильё. Теплее намного. Вот только искрит здорово антенна. Искры между проводами диполя на два сантиметра проселкиваются. Пришлось рацию отсоединять.

Зимой приходится по ночам работать часто, светлого времени не хватает, а при полнолунии даже снег светится. Правда, язычки капкана не видно, перезаряжаешь его на ощупь, но работать можно.

Вот примерно в такое время лет пять назад я шел по тропе вдоль Тукуланды. В пойме этой реки, спрятанной от норильского сквозняка, еще сохранилось живое чернолесье. Тропа шла под горой Лонгтокой. Поэтому и вся горная гряда, наверное, называется Лонгтокойский Камень, хоть правильной будет Лонгтокойский (впрочем, это неважное).

У подножия горы елки высоченные, неба практически не было видно, но свечение снега позволяло находить привыкшим глазом лыжню. Да и не только глаза работают... К лыжам за зиму привыкаешь так, что они кажутся собственными подошвами, даже иногда с усталости норовишь в избу войти на лыжах.

Когда я вышел к ручью, сначала ничего не понял, думал, там, за деревьями, горит наша изба. Багровое пламя пробивалось сквозь деревья. По застругам и снежным наносам бродили сиреневые отсветы, которые иногда стучались до темно-синих с медным отливом.

"Ну, этого еще не хватало! — подумал я. — Прошлой зимой вот так же Витя Высоцкий работал в пургу по путику, по охотничьей тропе, рассчитывал дойти до своей промежуточной избы, обогреться, чайку попить, отдохнуть, — а промежуточная изба исчезла. Сожгли ее. И тайга, и тундра не так безлюдны, к сожалению, как кажется. Еле дополз Витя Высоцкий вот до этой избы на Тукуланде. Мы ее вместе, как соседи, рубили..."

Да, я думал, что горит изба. Рванул ходкой. Губы сжал. Ведь догоню фейерверкеров. Разберусь что почем.

Вот она, изба. Целая. А зарево, багровое зарево, пылает в стороне Норильска. Казалось, что сгорают кварталы. Вспышки освещали даже кору одинокой березы, и она тоже извивалась, как фантастический язык пламени.

Я оглянулся. В стороне Снежногорска тоже хлестало в небо тугое багровое зарево. Горизонт обгорал, и казалось, что небо уже валится на землю. Я опешил, оцепенел, застыл — не от ужаса, а от растерянности. Неужели вот так все на Земле закончилось?

Зарево вспыхнуло еще сильнее. Небо падало на меня. Все охватило багровым огнем, огнем с чадом. И в этом чаду пошли зеленые всплески, голубые, а потом снова только багровые. Такого полярного сияния я не видел больше никогда.

Я все еще продолжал стоять около сгорающей в холодном пламени березы, и только шепот дыхания завивался над стянутыми холодом губами: "Неужели когда-нибудь я не буду жить на этой Земле?"

Когда-нибудь — это любое мгновение на выбор судьбы...

Неужели я не буду жить на этой Земле?

### СЛОВА ЖИВУТ, А ЛЮДИ УХОДЯТ

Снег был тяжелый. Пятый день над Курейкой гуляла мутная пороша, и скалы "гуляли": то внезапно всплывали в белой мгле, то, казалось, покачивались и тонули в снежных хлопьях, которые неслись наискось, прямо в "морду лица". Щеки, лоб, нос и даже губы были набиты хоть и мягкими, но все-таки кристаллами, и светящийся майский снег, и солнце, спрятанное где-то там, за серо-белым маревом, дожигали припухшую кожу. Зеркала с собой не было, но представить самого себя было нетрудно.

"Морда лица" — точнее не скажешь. "Буран" я оставил на подходе ко Второму Куллюмбинскому озеру, километров за десять — сдох коммутатор. В инструкции, мать-перемать, сказано просто: неисправность коммутатора — заменить на новый. А где этот новый взять? Хорошо лыжи на санки бросил! А снег четвертого мая становится кислым, хотя с утра еще похрустывает, если подморозит за ночь. Сейчас даже ночью температура не падала ниже нуля. Вот я и давил снег со скоростью не больше трех километров в час, а это значит, что до заброшенной метеостанции ходу часов десять. Там, по крайней мере, крыша в порядке. Даже окон медведь не повышибал. Двери тоже на месте, да и дровишек ребята поднапилили. Можно будет перекантоваться денек, а там и до моих владений рукой подать. Сказочные места — граница Таймыра и Эвенкии. Я хотел бы там остаться навсегда.

Знавал я одного ученого, по оленям работал. Прекрасный мужик был. Все говорил, что уйдет из жизни, чтоб его в Путоранах ни одна человеческая тварь не нашла. Ушел он так, как и замышлял, но все равно нашли через год. Еле опознали, думаю, что опознали по последней улыбке. Я не хотел бы, чтоб меня нашли после ухода...

Лыжи подминают снег, тяжело. Мысли тяжелые. Да и жизнь не из легких. Дошел до края плато. Снег сыпать перестал. Сверху потянуло голубизной. Настала тишина мягкая, как песцовый пух. За полосой леса хорошо просматривалось озеро и на его конечном изгибе — исток речушки в промоинах. До метеостанции оставалось километров семь. Совсем рядом. Можно было и посидеть пару минут над обрывом.

Рядом парил белохвостый орлан. Весна. Внизу, между елями и оживающими березами, тянулась большая расплывчатая заячья тропа. Чуть выше, у остывшего водопада, в тальниках, перекачивались розовые шары куропаток. Все нарисовано одной и простой линией Бога. Так человека пеленает вечность. В такие моменты мне непонятно, что за-

ставляет меня самого все время возвращаться к людям, к жирным обрюзгшим пивякам и тощим гусеницам, которые изображают творческий процесс, поглощая осклизлый корм свой и заражая тлением еще живое время и пространство. *Может быть, ненависть, желание давить их подошвами?* Наверное, нет... Ненависть — это смерч, ураган, цунами, а мое чувство какое-то холодное, спокойное и равнодушное, как оплавленный лед.

Когда дошел до заброшенной метеостанции, "морда лица" совсем распухла, и глаза слиплись до рези. Огонь в печи закручивался в шерсти сушняка. Комнатенку сначала затянуло синими полосами дыма из щелей печи, но потом тепло прососало засыпанную снегом трубу. Пламя забормотало, поленья затрещали, и ровное гудение заполнило пыльное и прогорклое нежилое пространство пристанища.

Пока закипал чай, я перебрал старые журналы на казенном письменном столе, сработанном, очевидно, жизнерадостными плотниками местных лагерей лет пятьдесят назад. Из "Огонька" за 81-й год выпало несколько тетрадных листов. Своеобразный акт передачи рабочего места в тундре от старожилы неведомому мне новичку — Володе...

"Здравствуй, Володя! По радию мне сообщили, что ты будешь меня подменять. Я, очевидно, вылечу в Туруханск на попутном вертолете. Основной подотчет сдал заранее. Осталась мелочевка и рация. Надеюсь, сложностей не возникнет. Шеф в курсе. Мне нет смысла ждать тебя и вылетать в поселок. Срочно нужно выбираться домой. Не хочется, чтоб ты повторял мои ошибки, начиная работу на этом месте. Если отнесешься к письму с недоверием — твое право, но время все поставит на свои места.

Сейчас уже начало августа. Пора готовиться к зиме. Одному будет трудно. Желательно, чтоб с тобой проработала пара твоих надежных друзей. Самое главное — умеющих молчать. На неделю брось все дела и вали деревья. Примерно кубометров десять елки и сорок кубометров лиственницы.

Лес вали на противоположном берегу залива. Его не убудет, и лесничий особо докапываться не станет. Дашь мешок рыбы, поставишь литр самогонки, и он заткнется. Они в основном для этого и прилетают. Хлысты сплотишь на воде скобами, я их подготовил, они на чердаке. Протащишь по тихому озеру на лодке под "Ветерком". "Вихрь"-30 — двигатель с дурью, не для этой работы. Выкатишь на берег, уложи на сляги и сразу же пили. Под чурки, когда будешь их складировать, набросай веток, чтоб они после осенних дождей не промерзли. Складывай сразу же недалеко от воды. Станет лед, выпадет нормальный снежок, перевезешь на "Буране" чурки к дому и затаскивай в дровяник. Не ленись это делать сразу же. Если начнутся пурги — будет поздно. Скорость ветра бывает до 35 метров в секунду, особенно из ущелья, со стороны Эндэ.

За зиму у меня ушло не меньше пятидесяти кубов. Особенно много уходит дров, когда приезжают гости. Натопят, накурят — я не выдерживал, уходил спать в баньку. День-два их терпеть можно, но больше тяжело: надоедают своей самоуверенной тупостью и никчемным самомнением.

Во второй половине августа ставь сети от мыса. Я там сложил пирамидку из гранитных булыжников. Не помешает лента метров двести, даже под триста. Работать будешь по всей длине равномерно. Ячея сети 50 — 60 мм. Самая ходовая. Стенки желательно повыше. И еще стометровую

ленту поставь от острова по направлению к триангуляционному пункту. Ячея сети 80 мм. Груз посолиднее, чтобы можно было проверять сети в шторм, иначе будет все время ее стаскивать. Около острова волна почти постоянная. Дует здорово, но ловятся крупные гольцы, и попадаются таймени. Еще одну сеть крупную по осени надо ставить в дальнем заливе. В этих местах идет после 20 августа и весь сентябрь крупный голец, 7 — 12 кг. Я таких ловил в сутки 6 — 10 штук с икрой.

Рядом с избой никогда рыбу не шкерь и не соли. В километре (по схеме найдешь) я построил два лабаза. Места достаточно. Не ленись. Инспекция появляется редко. Денег на полеты у них нет. Но, бывает, и прилетят. Не ищи приключений. Пусть около метеостанции всегда стоят две разрешенные сетки, и дома в тазике лежит с десяток рыбешек. От остального в любом случае отказывайся. Ты отвечаешь только за территорию метеостанции. Сам знаешь — на нашу зарплату не проживешь, да и устанавливали ее с явным расчетом на подножный корм, который вроде бы и запрещен. Рисковать не бойся, но рискуй с умом.

После первого октября снимай все сети. Будет идти один налим. Я заготавливал его на зиму для собак 8 — 10 мешков. Максимум да икру съедать сам. Еще уху делай так: вываривай налимьи головы, отдавай собакам, а в этом бульоне отваривай гольца. Прекрасный холодец получается.

Прямо в Курейке во второй половине августа ставь сети 25 — 35 мм ячея, чтобы в пределах видимости. Медведь их вытаскивает. Я двух замочил, но еще парочка крутится. Пойдет сиг-валек по холоду валом. Большую бочку я засаливал колодкой за три-четыре дня. Те ребята, которые у меня скупают, платят мне 40 процентов от рыночной. Дело имей с ними. У них "железная крыша". Не жадничай. Приходится и делиться — иначе загремишь.

В каждом поселке все повязаны друг с другом, чужаков не любят, поэтому не покупайся и с малознакомыми не пей. Наболтаешь лишнего, локти будешь кусать, да поздно будет. Чем глуше поселок — тем хитрей и жестче народишко. Чистых мужиков можно пересчитать по пальцам, хотя и в городах та же ситуация. Не бойся умных ребят. Они умеют улыбаться глазами и никогда не давятся лишним хвостом или шкурью.

На ряпушку ставь прогоны в озерах за перевалом. Через лес я дорогу прорубил — найдешь. Это уже Хантайский бассейн. Ставь с учетом того, что вода упадет. Начало сети должно быть на трех-четырёхметровой глубине. Самый интенсивный ход — ноябрь, декабрь, начало января. Ячея мелкая, 20 — 30 мм. Конечно, лучше всего поставить ставной неводок, но попрут в него и налим. Его девать некуда. Так что приходится на морозе трясти сети. С одной я вытаскивал до 300 штук и каждый час проверял.

Себе самому на зиму запас сделал, но "Бураном" вывозить через перевал тяжело, груженные сани не берут подъем. Первый раз пытался прорваться, загрузив восемь мешков. Сжег три ремня вариаторных. Больше двух мешков не перетащишь. Скинул прямо рядом с тропой шесть мешков, вернулся только через три дня — от мешков одни ключья. Все истоптано соболями, песцами и горностаями. Поставь сразу же в этом месте пять капканов с оцепами "бабочкой" на бревна. Снял через день песка и трех соболей. Шкурью и тушки тоже не храни на базе — сам думай, куда подальше спрятать.

На песца ставь по Эндэ, да и по Курейке он идет в хороший год нормально. Удобнее дублировать песцовые соболиными ловушками. Разносить приваду легче. Самое главное: изучи схему наледей. Я ее оставляю в журнале наблюдений. Из-за них мужики из поселка сюда редко добираются без крупных неприятностей — иначе бы здесь нам жить не дали. Когда обвыкнешь — поймешь, что с любой хреновиной, в том числе с наледями и промоинами, можно разобрататься без паники и суеты. Самое главное — не теряй чувства опасности. На приваду для зверья не желей белую и красную рыбу. Лучше голец. Налим и щука совсем не годятся.

Конечно, в эти места будут прорываться искатели приключений. Один особо не зверствуй. У них тоже есть оружие. Можешь нарваться и на крутых парней. Спустят в майну, и никто особо искать не будет. То, что говорят обо мне, на себя не примеряй. Я шесть лет на хозяина мантулил, жернова на фиксы поменял. Всякое было. И хоть ты не мой кент, но кидать понты мне не с руки.

Службу надо нести аккуратно. Она не особо тяжелая, а нам за нее деньги платят. Мы при деле, и живая копейка идет. Бывает, сюда через перекааты заходят лодки. Ты их заворачивай обратно. Имеешь право. Здесь запретная зона. С инспекцией держись официально. Сразу же сообщай по рации об их приезде. В производственные помещения не пускай, даже если все чисто. Предъявят документы или разрешение на обыск — сразу же составляй акт и давай радиogramму руководству. Самое главное — не лезь в пузырь и не светись.

Если кто приедет и будет ссылаться на меня — гони, один хрен. Были случаи — моей фамилией спекулировали, и не раз.

Самый серьезный мой совет тебе, Володя, — никогда поддатый не выходи на связь. По рации ничего лишнего не болтай, не обсуждай, что поймал, что стрелял. На питание, естественно, ты должен ставить одну-две сети без права вывоза — это все знают, но все равно, лучше молчи. Рации часто прослушиваются, да и у наших коллег языки болтаются иногда между коленками. Чем меньше быдло будет знать о твоих делах — тем лучше. Слишком много в этом мире ленивых и завистливых харь. Работать не хотят, а в чужой карман заглядывают, и сопли из глаз от жадности текут.

Володя, я знаю, что ты только-только прилетел после армии и училища “с материка”. Наверное, с оленями дело не имел. Я, по-стариковски, тебе подскажу. Может, пригодится. Мне знанием делиться не с кем. После убоя оленя надо обязательно разбутарить (выпустить кишки). Лучше шкуру снять сразу же и, если давит мороз, облить пару раз водой, заглазировать, чтоб мясо не выветривалось. Для себя я оставлял оленя в шкуре. Передние и задние ноги нужно растянуть, чтоб не подопрело мясо. Вообще-то, нежнее и сочнее мясо у телят. Сразу накрутишь фарш, ведра три-четыре, на пельмени, и всю зиму горя-беда не знаешь. Готовил ягоды и грибы на зиму. Здесь всегда много подосиновиков. Они чистые и красивые. Ведер десять ягод. Черника, брусника, рябина, и даже клюквы литра четыре набирал, правда, она мелкая.

Будут идти группы туристов, ты с ними обходишься нормально, но предупреждай насчет костров. Два года назад они выжгли верховья озера на северном берегу. Много бед наделали. Если попросят — помоги, но и у них проси

сразу же помощь. На метеостанции всегда для мужиков дело найдется. Не стесняйся. Пусть потрудятся — и так почем зря землю ногами долбят, а надо с пользой.

И еще один совет прими от меня: наше руководство особо рыбой не балуй. Благодарности не дождешься. Будешь баловать — будут за глаза считать тебя же холуем, который обязан их ублажать. Они зарабатывают в пять раз больше, чем ты. Пусть покупают на базаре валенки. Ну, угостить сугудаем или положить на стол пару хвостов малосола по законам гостеприимства можно. Изображать из себя бочку изобилия — последнее дело. Всех не накормишь.

Пожалуй, все. Грустно оставлять эту избу, но пора. Седина горопит. Запчасти и весь инструмент свой я оставляю. Это тебе на обзаведение. Лучше всего дежурить с женой. Любой напарник рано или поздно надоедает и раздражает. Мы вряд ли встретимся, хотя и говорят, что мир тесен. Жму руку. Прощевай!

*Иван Егорович.  
Курейка, 1981 год.*

Я прочитал это послание пятнадцатилетней давности и придвинул к себе кружку с чаем, вернее — с взваром чаги. Горьковатый напиток, вкус своеобразный, чертовски полезный, но превращаешься в маленький гейзер, который работает с интервалом в пять минут.

Много воды утекло в Курейке со времен Ивана Егоровича. Володя, я слышал, пропал здесь по весне. Видать, лодку по камням проволочило, перевернуло. Нашли ее ниже по течению заилленную. Всего-то год парнишечка проработал метеорологом.

Странно, а письмо Ивана Егоровича еще живое, даже слишком живое. Ведь ничего на Курейке не изменилось. Так же грохочет Большой водопад, олени так же идут с севера на юг, а весной — с юга на Таймыр. Валек так же дуром прет в сети, и таймени глушат тугунка, врываясь в плотные косяки.

Вот смотрю я в окно, а на разросшейся рябине суетится красивый, кривоносый, как попугай, клест и долбит случайно оставшуюся кисть ягод. Так было, так есть, так будет. И когда-нибудь пару десятков лет спустя, здесь, у этого окна, будет сидеть такой же бродяга с обожженной солнцем и ветром мордой человеческого лица, а где-то там, далеко, будут суетиться, лгать и цепляться за жизнь люди-черви, люди-пиявки, люди-гусеницы... Ничего в мире не существует без определенной надобности.

Все. Отогрелся. Чай попил. Отдохнул. По озеру мой старый след еще все-таки виден, хоть и мелко. Домой надо. Домой... Хотя никогда не было и не будет у меня своего дома.



## Анатолий САВИНОВ

Работает слесарем-электриком  
Норильского медного завода.  
Публиковался в газете "Заполярная правда".

### ОДНАЖДЫ ПОПРОСИВШИЙ ЗАКУРИТЬ

Иногда тишина страшней землетрясения. От нее просыпаешься в холодном поту и долго пытаешься понять причину своего пробуждения. Такое чаще всего случается где-то между четырьмя и шестью часами утра. В это время на улице замирает движение, соседи справа, наругавшись всласть, успокоились и, наверное, легли под одно одеяло. Чего было кричать? Слева перестает плакать ребенок, сверху не скрипит диван, и живущая напротив пенсионерка баба Дуся умолкает, так и не достучавшись к получившему пенсию деду Игнатию. Казалось бы, "лови момент", ан... нет. Что-то толкает тебя в спину — "вставай!" — а после весело хохочет, глядя на твою кислую физиономию. Ты переворачиваешься на другой бок, вскакиваешь, боксируешь в подушку и снова ложишься, накрываешь ею голову, но ничего не выходит. И вот ты лежишь и пускаешь дымные кольца в потолок. Тут-то и приходит в голову всякая всячина...

Дождь, морозящий и противный, стекает по небритой шее за воротник. От этого тело будто кто подключил к ЛЭП, не испросив позволения. Одинокó помигивает желтый глаз светофора, бросая по мокрому асфальту рыжие блики.

— На что-то это походит, — подумал Витька и на секунду прикрыл рукой глаза, пытаясь вспомнить.

Но голова, словно покинутый пчелами улей, в котором уже никого нет, а он по-прежнему гудит, не желая мириться с пустотой, захватившей его изнутри.

Невдалеке через дорогу шел молодой человек в серой кожаной куртке с капюшоном. Лица его не было видно, но о наличии оно́го говорила красная искорка зажженной сигареты.

— Слышь, браток. Угости табачком, если не жалко, конечно.

— Жалко. Работать иди. Бичара хренов.

— Кто? Это я бичара? Да я тебе...

— Что ты мне, ну?..

Прохожий был раза в два шире плечами, нежели Витька, а потому, кое-как замяв чуть было не возникший конфликт, Виктор поплелся унылой походкой вдоль улицы. Ему

до спазм в горле хотелось курить, но проклятый дождь вымочил все окурки на автобусной остановке, а единственная надежда обозвала его бичом и едва не набила морду.

Раньше Витька не был ни пьяницей, ни лентяем, просто так сложилась жизнь, наверное, в угоду новому текущему времени.

Пару лет назад автобаза, где он слесарил, была ликвидирована, парк машин распродан, и он остался без работы. Некоторые из тех, с кем трудился Витька, подались на юга, другие в "комки", а у него все пошло наперекосяк. Сбережений хватило ненадолго. И потекло в киоски все то барахло, что с таким трудом наживалось. Сперва хрустальный сервиз, за ним исчез со стены ковер, а дальше — как по маслицу. Когда продавать стало нечего, явились два бравых молодца и предложили купить у него квартиру. Большие деньги обещали.

— Ты не бойсь, земля, все будет ок-кей. В купчей мы укажем одну сумму, а заплатим в десять раз больше, чтоб тебе налог поменьше был. Поедешь на "материк", купишь там себе хатенку, работу найдешь и заживешь, как раньше... Глядишь, и бабенка какая подвернется. Подписывай, не дрейфь... Или нет, давай еще по рюмочке... У-ух, хорошо, и в голове прояснилось... Жуй шпроты — не стесняйся... Толстомордый внимательно посмотрел на Витьку.

— Ты это... Ежели в чем сомневаешься, скажи, мы к другому пойдем, желающих свалить с севера в полном достатке.

Витька, опьяненный не столько выпивкой, сколько нарисованными ему перспективами, даже испугался тогда: "Ведь уйдут благодетели, в самом деле", — мелькнула мысль, и он залихватски подписал купчую.

— Вот и молоток, держи "краба". Ну что, Серж, обмоем, как следует, с Виктором сделку? — хитро подмигнул толстомордый своему товарищу.

— Нет базара, я быстро, — весело ответил до сих пор молчавший молодой человек и вышел из квартиры.

Ждали около часа.

— Ну где его, балбеса, носит? Пойду, выгляну на улицу, может, что случилось, время, сам знаешь, какое, — сказал покупатель и стал торопливо одеваться.

— Эй, постой! — вскрикнул Витька. — Ты сейчас слиняешь и только я тебя и видел. Плати бабки сначала.

— Ты чего, братан? Ты мне не веришь? Я что, похож на какого-нибудь козла? Думаешь, я тебя объегорить решил? Эх ты, а я-то к тебе всей душой...

— Да я это... Нет, ты не подумай чего, ну...

— Ладно заикаться-то. Чего не подумай? Тут и думать нечего, не веришь и все... На вот, — секунду помедлив, парень сунул Витьке увесистый портмоне. — Тут и деньги и документы мои... Пусть у тебя побудут...

Этот бумажник и теперь лежал в кармане Виктора. Тогда увесистость его заключалась в двух с половиной миллионах рублей — сумма, что была указана в купчей, — и пустой паспортной обложке.

А через неделю пришли двое других мужиков, с небритыми, смуглыми кавказскими лицами и с ними ихняя же баба. Они попросили освободить квартиру, размахивая перед Витькиными глазами документом, на котором красовалась его собственноручная подпись...

— Однако, как же все-таки холодно. Сейчас бы столик пропустить, — думал он, сидя на раздолбанной скамейке под козырьком автобусной остановки. — Ну хоть бы покурить. И как назло ни души. Разве что ларек напротив. Но там окно плотно занавешено, продавец харю давит. Да и не спал бы, все равно без денег не даст ничего. Жлобы вонючие, твари, человек помирает, а они дрыхнут! Ну шас я...

Звон стекла. Продавец, мирно дремавший в неудобном продавленном кресле, обставленном со всех сторон коробками, от неожиданности вскочил во весь рост и ударился головой о деревянную, из неструганой доски, полку, с которой на него повалились бутылки с азербайджанским коньяком. В то же время он увидел руку, пытающуюся достать с витрины "литруху".

— Ах ты б...!

И схватив со столика кухонный нож, с размаху полоснул им по наглой руке. Снаружи раздался крик.

— Чё, сука, больно тебе? Вот сейчас, подожди.

Витька не сопротивлялся и скоро перестал чувствовать боль. Он только следил за ногами продавца и спрашивал себя: "Интересно, когда же они устанут?"

От последнего удара в грудь Виктор закашлялся и как-то неестественно вытянулся. При этом из нагрудного кармана старенького пиджака на тротуар упал небольшой позолоченный значок с надписью "Ударник коммунистического труда"...

...Какие только мысли не приходят в голову, когда под утро тебя разбудит тишина. Но проходит некоторое время, и ты снова засыпаешь. И снится тебе дрожащий от холода бомж, однажды попросивший у тебя закурить.

*Норильск, 1997 г.*

## Татьяна БЕГЛЕЦОВА

*Охотовед. Настоящий знаток таймырской тундры.  
Публиковалась в местной печати.*

## ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

*"Как это было давно:  
Сколько с тех пор  
нагрешено,  
Сколько светлых зажило погребено.  
Слушай, а может, вернемся?  
В прокуренной кухне осталось вино..."  
(песня группы "ЧайФ")*

Действительно, давно это было — тридцать лет прошло.

Тридцать лет. Но я помню весну, большую заболоченную лужу, где мы с тобой красными, распухшими от холодной воды руками вылавливаем серые дрожашие гроздьи лягушачьей икры. А потом, замерзшие, сопливые, боимся идти домой, потому что набрали воды в сапоги и нам здорово влетит за это.

И той же весной, прелой ночью, твой отец спас меня от неминуемой смерти, довезя вовремя на тряском стрекочущем мотоцикле в районную больницу, где мне к утру удалили взбунтовавшийся аппендикс.

Через неделю за мной приехала бабушка, усадила меня в кабину грузовика и всю дорогу говорила о том, как ты ждал меня, как приходил каждый день выпытывать у нее о моем приезде. И первое, что я увидела, когда машина остановилась у покосившегося здания почты, был твой соломенный чубчик над круглыми серыми глазами.

В детстве все просто: мы взяли за руки и пошли домой. Тогда тебе было семь лет, мне — восемь.

Занятия в школе еще не кончились, но от уроков меня, как болящую, освободили, да еще запретили бегать, прыгать и поднимать тяжести. Долгими майскими днями мы сидели на пригретом солнцем косогоре, среди желтеющих одуванчиков; совали сухие травинки в муравейник, а потом облизывали пронзительно кислые стебельки. И однажды вдруг решили идти на болото за шавелем — может, муравьи нас раздразили?

До болота мы дойти не успели — нас догнала бабушка, унесла меня домой и, ругаясь, уложила в постель. Беспокоилась она не зря: плохо сросшийся шов начал расходиться и загноился. Постельный режим был обеспечен надолго. Тебя она пустила только на следующий день, ты вошел и молча положил на табуретку рядом с кроватью целую охапку уже завядшего шавеля.

Тридцать лет. Но я помню июльский день, сеновал над конюшней, душный запах свежего клеверного сена, узкие лучи света, пробивающиеся сквозь щелястую тесовую крышу, и пляшущие в них золотистые пылинки... Рыжий школьный мерин топотит и фыркает внизу, под нами, сидящими на сеновале. Саднят исцарапанные жесткими сухими былинками тощие руки и ноги, хочется устроиться поудобнее, но мы боимся пошевелиться: услышит техничка Варюша и прогонит...

А нам хорошо и так — сидеть в колючем сене, молчать, слушать лошадиное фыркание и, запихивая соломинки в дырки сандалий, шекотать друг другу ноги. Сандалии ты всегда надевал шиворот-навыворот, так чтобы ноги смотрели в разные стороны...

А потом мы играли в прятки в одичалом, заросшем огромными лопухами школьном парке. Делали из толстых листьев шляпы, зонтики и веера. Ползая на четвереньках, мы исследовали таинственное, зеленое, горько пахнущее пространство. Находили, правда, немного: мягких гусениц, облепленных тополиным пухом дохлых котят, стоптанные рваные башмаки и выпавших из гнезд желторотых грачат. Грачат приносили домой, кормили червяками и жеваным хлебом. Потом до них добирались наши кошки...

В послеобеденные знойные часы мы подолгу сидели в прогретой воде мелководной протоки — нам, малышне, в речке купаться запрещали. Изображали плаванье, перебирая руками по дну, и завидовали ребятам постарше, плававшим на глубине на накаченных баллонах от трактора "Беларусь" или нырявшим в омут с полуразрушенной плотины. Домой приходили уставшие от воды и солнца и спали, как убитые, до утра, до новых маленьких открытий.

Лето кончилось. И вот настал тот день, когда вы уехали. В первый класс ты пошел уже в том самом райцентре, где мне весной сделали операцию. До последнего момента мне казалось, что этого не может быть, что мы не расстанемся никогда. А ты уехал навсегда — мы больше не встречались.

Опустела дорога. Осела поднятая грузовиком густая пыль — пыль, по которой еще вчера мы шлепали босыми ногами, а она серыми фонтанчиками прорывалась между пальцев.

С твоим отъездом кончилось мое детство. Мир для меня надолго стал бесцветным.

\*\*\*

Я не знаю, где ты теперь. Но знаю, что ты тоже помнишь то счастливое, безоблачное время, согретое теплом бескорыстной и чистой детской дружбы.

\*\*\*

...Слушай, а может, вернемся?..

## Осень

Хмурый осенний вечер, вернее, уже ночь. Ветер рвет пламя костра, искры сверкающим веером срываются с горящих веток и гаснут в плотной мгле. Темнота осенней ночи непроглядно густа, кажется, что ее можно потрогать руками. Порыв ветра взметнул седой пепел, смешал его с первыми робкими снежинками, исчезающими в пламени костра...

\*\*\*

Осень, осень... Она вспыхнет, как мой ночной костер, отгорит огнем берез и рябин и погаснет в октябрьских снегопадах под погребальную песню ветра в голых ветвях... Уснет уставший лес, замерзнут мелкие лужицы, но озеро еще долго не смрится с наступившими холодами — будет качать свинцовые волны, перемешивать прогретую за лето воду, бросать ее на обледеневший берег, разбивать на звенящие брызги. В клубящихся над озером туманах будут висеть сочные радуги и кружиться маленькие смерчи... Но однажды, в одну из тихих позднеоктябрьских ночей, мороз победит упрямую воду, и косые лучи утреннего солнца отразятся в тонкой черной ледяной пленке.

что вертолета. Рядом — покосившаяся, черная от дождей и ветров рыбацкая изба — наш приют на несколько дней. Берег озера, серые лбы вытаявших уже валунов, старые пни, редкие, кривые березки, хлипкие лиственнички... Вздыхаю и берусь за первый попавшийся под руку мешок — надо убрать груз под крышу — того и гляди дождь пойдет... И вдруг: грохот — гулкий, раскатистый, похожий на далекий гром. Вскидываю глаза и замираю: в поволоке жиденького облака — четкий абрис горы — как такое не заметить, ума не приложу! Снова сажусь на мешки и смотрю. Облако медленно, наискосок сползает с горы, обнажает обрывистые крутые склоны, почти лишенные снега; в узких, отвесных распадках клубятся ключья серого тумана, под распадками — рыжие следы лавин. Форштвень горы испарывает белесую мглу — гора плывет, плывет в тумане и скрывается в грязной вате облака...

Вот это — да! Минут через пять закрываю рот и начинаю таскать груз, временами поглядывая через озеро в сторону горы — не появится ли?

К вечеру похолодало, облака растаяли, небо заголубело — и вот она, гора, стоит во всей красе! Пытаюсь отыскать ее на карте, второпях путаю у карты верх и низ, наконец, нахожу: Чая-Кит, 1163 метра над уровнем океана. Сидим на пенках около дома, дышим, смотрим. Молодые собаки, пьяные от воли, свежего воздуха и весенних запахов, спят, вытянув натоптанные за день горячие лапы. Тихо. Заглохли прижатые морозцем ручьи. В безветрии замер лес. Горы молчат. Мы молчим...

\*\*\*

К концу трудного, не по-северному знойного и сухого лета на песчаном ягельном береговом бугре появился небольшой дом, сложенный из непокорных топором лиственничных бревен, неподалеку подведен под стропила еще один. К середине августа работа застопорилась из-за начавшихся тягучих холодных дождей. За лето мы привыкли к соседству горделивой горы, привыкли к шуму ее ручьев, привыкли к зеленому туману редкого лиственничного леса у ее подножья. Вряд ли Чая-Кит сможет нас сейчас чем-нибудь удивить...

Однажды ночью ветер разогнал облака, висевшие почти до земли, но небо все еще хмурилось — все вокруг казалось серым. Долгий дождь смыл, казалось, все краски лета. Осень была уже где-то рядом... Чая-Кит почувствовал это первым: он стоял, окутанный серебряной паутиной первого снега — элегантный, строгий и великолепный, как седовласый джентльмен.

\*\*\*

Прошла зима, вновь наступила весна. За год Чая-Кит показал нам все свои наряды, мы видели его в зеленовато-сером летнем, в серебристом с желтой оторочкой — осеннем, в белоснежном с черной отделкой — зимнем. Он был красив всегда — и закутанный в осенние облака, и закованный гжучим морозом в снежно-ледяной панцирь; белый, ослепительно сверкающий на фоне голубого и черный на фоне звездного неба. Осталось только дожидаться лета, чтобы посмотреть на него вблизи.

Маршрут был выбран давно — гора досконально рассмотрена и на карте и в бинокль — решили взбираться по острому выступающему гребню Чая-Кита. Путь казался настолько простым и легким, что решили не брать с собой какого-либо снаряжения. Сказано — сделано: полезли, но уже первые береговые террасы с "живыми" курумниками несколько охладили пыл покорителей. Впрочем, пока на склонах были деревья и кусты, взбираться было не так уж и трудно; сложнее

стало, когда начались вертикальные "стенки", перемежающиеся ползушими осыпями, где не за что ухватиться руками и где можно было только ползти или передвигаться на "четырех костях". Прошло часа три. Вершина была уже где-то недалеко, когда на нашем пути выросла вертикальная многометровая стена, под ней — круто уходящая вниз осыпь, на стыке стены и осыпи — баранья тропа, шириной около 10 сантиметров. Попытка пройти по тропе в надежде отыскать подъем оказалась неудачной. Видать, лазить по таким горам могут только бараны. Опустошенные неудачей, долго сидели под стенкой, смотрели на озеро, по которому ходили волны, казавшиеся с высоты мелкой рябью; смотрели на открывшуюся горную панораму, на крошечный домик внизу... Спускаться было еще труднее: приходилось вспоминать каждый свой шаг во время подъема, чтобы вернуться уже разведанной дорогой. Руки и ноги дрожали от усталости и напряжения, на голову и за шиворот сыпались мелкие камешки и песок, было жарко и хотелось пить. Да еще и досадно: так ведь и не удалось добраться до вершины какой-то вшивенькой километровой горки...

\*\*\*

И прошло еще три года. Мы смотрели снизу на так и не покоренный и высокомерный Чая-Кит, смотрели, как меняет он свои одежды, как плачет он по весне слезами талых вод, как в гневе бросает камни, как в печали кутается в пелену облаков... Смотрели и думали о том, как ничтожно должно быть наше желание покорить этого красавца, равнодушного к нашему тщеславию и самоутверждению. Нельзя его покорять и нельзя покорить, потому что ему безразличны наши помыслы и стремления, мы — всего лишь суестьищиеся у его подошвы букашки. Сколько их было и сколько еще будет...

А все-таки очень хотелось побывать там, наверху. Какой, наверное, вид открывается с горы. Не утерпели. Однажды, теплой, ясной июльской ночью, звенящей комарами, мы вновь пришли к Чая-Киту. В этот раз Чая-Кит был добрее к нам — это мы сразу поняли, когда увидели зайца на травянистом склоне. Заяц поскакал вверх — а мы пошли за ним. Косой "проводник" появлялся перед нами еще пару раз и всякий раз убегал вверх, как бы приглашая за собой. И мы шли, пока не уперлись в ту самую стену, которая преградила нам дорогу три года назад. Опять посидели под ней и стали искать подъем. В конце концов, удалось-таки вскарабкаться на эту чертову стенку. Вершина рядом, еще несколько минут — и мы наверху. Озираемся. Вершина — относительно плоская поверхность, усеянная каменными глыбами, покрытыми изморозью лишайников. Между камнями — пятна коричневого сырого мелкозема, на котором хорошо видны следы горных баранов, оленей, а теперь еще и людей. В складке небольшой каменной гряды — сочащийся влагой снежник. На его поверхности множество оленьих следов — здесь они спасаются от надоевших комаров. А вокруг — красота! Горы проеатриваются далеко-далеко и кажутся бесконечными, матово светится изумрудное озеро, сверкает серебристыми блестками кажущаяся узеньким ручейком своенравная Иркинда. И все это в 4 часа утра. На горе. На восходе солнца. Распираемая тщеславием, сооружаю из камней небольшой гурий — мне кажется, что мы все-таки первые, кто побывал на Чая-Ките.

\*\*\*

Это было в прошлом году. Вряд ли я забуду это. Весь этот год мне казалось, что все-таки Чая-Кит мы покорили. А теперь я поняла, что ошибалась. Это он покорил нас, покорил навсегда.

## Александр ГРИГОРУК

*Работает диктором Норильской телерадиокомпании.  
Публикуется впервые.*

### ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Солнечный диск неуверенно пошатнулся, сбросил с себя лишнюю огненную шелуху и, повернувшись на восток, тихо засмеялся. Затем медленно поплыл в сторону своего же искрящегося смеха... Через некоторое время в какой-то ведомой только ему точке остановился и, поблуждав солнечным взглядом по разбросанному под ним городу, нашел нужное ему окно и, погасив свое ветвистое пламя, со страхом и почтением стал в него вглядываться...

Иисус не видел этих солнечных метаморфоз, он сидел спиной к окнам и лицом к дверям, но тревожно знал, что все сегодня вершится так, как надо. И еще будет много чудесного, вот только не все это увидят, еще больше не поймут, но это не страшно. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да узрит, имеющий разум да осмыслит и только имеющий душу да возрадуется...

— Учитель, странный сегодня вечер, — сказал Иисусу Петр. — Мне почему-то кажется, что будут перемены...

Петр сидел за длинным столом между Иудой и Андреем, его с самого утра не покидала шемная тоска, усилившаяся к вечеру. Петру казалось, что он собрался куда-то уехать из родного, любимого места, причем зная наперед, что он уже никогда не увидит своего дома...

— Равви, мы все чувствуем какую-то неопределенность, разбросанность, — разом заговорили апостолы...

— Глядите! — неожиданно воскликнул Фома и, толкнув локтем Иакова-старшего, указал на окно.

Апостолы обернулись и на куске многозвездного неба, как на картине, увидели висящих друг против друга солнце и луну. Но только не было у великих светил ни изящества и утонченности лунного мрака, ни безудержных солнечных лучей. Эти две самые человеческие звезды, не по-человечески одинокие, встретившись вместе так близко и посмотрев друг другу в глаза, не изменились и по-прежнему остались почти такими же взаимно равнодушными.

...Тогда Иисус сказал:

— Дети мои, уже недолго я останусь с вами. Заповедь новую даю вам: любите друг друга, как я люблю вас. По этой любви узнают все, что вы Мои ученики...

— Куда Ты идешь, Господи? — спросил Петр.

— Туда, куда теперь ты не можешь идти...

Петр возбужденно дернул рукой, опрокинул под стол кубок с вином, полез за ним, но когда пыхтя он поднялся, за столом, да и во всей комнате никого уже не было, она была пуста. Петр исподлобья осмотрелся и вдруг услышал, как за его спиной, из окна доносится шум прибора... Океан лениво, безмерно и тоскливо играл волнами... "Волны — это мои мысли", — подумал Петр и почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Он не испугался, он уже стал понимать, что теперь, после этого вечера, одиночество навсегда

будет его второй, а может, и первой сутью, но все это случится только тогда, когда сбудутся пророчества... "Но ведь они еще не сбылись", — подумал он и воскликнул:

— Господи!

— Что ты? — ответил Иисус.

Петр мотнул своей бычьей шеей и уже почти спокойно ответил:

— Да так, учитель, померещилось...

Апостолы беспрерывно пили вино, но не хмелели, они много говорили, не слушая и возбужденно перебивая друг друга... вспоминали... вспоминали встречу с Иисусом, свое прежнее ничтожество, и преображение, и то счастливое время, когда они были вместе с Учителем...

— Но почему были, почему? — кричал Андрей.

— А вы помните, какие рожи скорчили фарисеи, когда Учитель воскресил Лазаря...

— Это было самое чудесное время...

— Нет, это было великое время...

— Да почему было?! — кипятился Андрей, стуча кулаком и расплескивая вино.

— Потому что один из вас предаст меня, — вдруг ответил Иисус.

Апостолы еще больше зашумели, а Христос тихо позвал к себе Иуду и протянул ему кусок хлеба...

— Иди и сделай свое дело, — произнес Учитель и посмотрел на Иуду Искарюта, как отец, отдающий своего единственного сына в жертву. И это было первое жертвоприношение...

— Что, Господи, — спросил встревоженный и мудрый Иуда, — уже и серебряники звенят и осина выросла?

— Ты сможешь...

— Я не смогу жить после этого...

— Я знаю, я встречу тебя... там.

Иуда спрятал хлеб, поданный ему Иисусом, и быстро вышел из комнаты. А за окном шел хлопьями невиданный снег... Апостолы со страхом и недоверием косились на окно, поглядывали на Учителя, пили вино, спорили, вспоминали, но уже ничего не спрашивали у Христа... В них вошла покорность, в них родилась животворящая сила судьбы, и ученики стали изменяться.

Преображался и сам Христос. Он уже не был хладнокровен и созерцателен, как маг... Он не кроток, словно жертва... Он уже не был всемирным зеркалом, бесстрастно отражавшим человеческие уродства, оставаясь по-прежнему чистым... Облик Иисуса утратил людские черты, заменив их на светлую, спокойную, небесную силу. Христос встал и незаметно вышел, вслед за ним исчезли и два его ученика...

Апостолы, поглощенные своим новым внутренним состоянием посвящения и силы, не заметили как за окнами сменились все времена года. Они не замечали, что стены трапезной уже давно излучали одиночество, что хлеб на столе превратился в сухари, а вино в тухлую болотную воду... Лишь только трепетный Филипп почти до конца понимал важность этого тайного вечера, этого прощального вечера, где наступил конец нового и начиналось другое новое... Уже теперь, здесь, сейчас и дальше все, все, все будет иначе. И сам Филипп преобразится, и его братья-апостолы, и все люди на земле, или почти все...

И пройдет время, и случится много важных, жутких и чудесных событий, и Павел, вспоминая Тайную вечерю, напишет: "Говорю вам тайну, братья, — не все мы умрем, но все изменимся..."

## Владимир СОЛДАКОВ

Собственный корреспондент  
"Заполярного вестника" по Таймыру.  
Живет в Дудинке.

### У МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, НА ХАТАНГЕ-РЕКЕ...

Этот поселок на берегу Хатангского залива подобен десяткам других таймырских поселений. Так же беспорядочно разбросаны деревянные дома, сбегаящие к берегу по пологому склону. Так же, по самые окна, заметаются они каждую зиму синими снегами. И живут здесь такие же, как и везде на полуострове, работающие и добрые люди: рыбаки, охотники, оленеводы, обладатели других профессий, без которых тутошняя жизнь была бы просто невозможной.

Однажды, ранней осенью, в самый разгар сельдевой путины на реке Хатанге, услышал я от рыбаков из Сындасско легенду об одном из самых северных поселков Таймыра.

Иной раз бывает так, что услышанное сегодня назавтра уже и не припомнишь, но эта легенда почему-то засела в памяти крепко-накрепко. Все, видать, зависит еще от обстоятельств, при которых довелось услышать рассказанное, от настроения, от состояния души, в конце концов. Да мало ли еще от чего?

...Сентябрьским вечером, когда сумерки сгустились настолько, что нельзя уже было различить, где кончается урез реки и начинается противоположный берег Хатанги, бригада рыбаков отправилась на тоню, то есть к месту рыбалки, где обычно всегда забрасывают они свой невод.

Деревянные лодки легко скользили по черной воде, разрезая своими носами спокойную гладь реки. А в ней отражались высокие звезды. И, казалось, не по воде мы несемся, а по звездам, разбивая их на тысячи мелких кусочков, которые яркими брызгами разлетаются по сторонам.

В густой темноте на идущих рядом с нами лодках мамино вспыхнули веселые огоньки папирос. Появившийся ветерок погнал струйки табачного дыма в нашу сторону. И тотчас, как по команде, все, кто сидел рядом со мной, тоже закурили.

Лодки, одна за другой, бесшумно остановились. Завязался неторопливый, вполголоса, разговор, который обычно возникает в минуты ожидания. А мы ждали, когда начнется отлив, потому что только по отливу на Хатанге забрасывают рыбаки свой невод.

Запах табачного дыма, смешанный с ароматами речной тины, поникшего от первых заморозков прибрежно-

го багульника, пропитанного рыбьим духом невода, на котором мы все сидели, слегка пьянил, кружил голову. За бортом плескалась вода, ничуть не мешая неспешному рассказу пожилого рыбака, овладевшего общим вниманием.

...Они появились с моря. На берег высадились с большого парусного корабля, ставшего на якорь посреди залива. А потом корабль ушел. Мужчина и женщина, сошедшие с парусника, ждали его возвращения — иначе зачем до самого ледостава они постоянно обшаривали взглядом залив, поглядывая туда, где далеко за горизонтом лизало берега холодное загадочное море. Зачем? Непременно ждали корабль, надеясь на то, что он вернется и заберет их...

...Жилье построили временное, из плавника, явно не рассчитанное на большие холода. А морозы нагрянули внезапно. Мужчина, видать, промерз, простыл и, недолго провалявшись в горячке, умер. Женщина похоронила его прямо на берегу реки, с трудом вырыв ножом могилу в не успевшей еще застыть земле, и осталась одна-одинешенька.

Дней еще пять, наверное, поднимался над ее избушкой дым, а потом, в одно холодное утро, дыма почему-то не стало. И тогда к жилищу людей, оставшихся по какой-то неизвестной причине на берегу залива, направились пастухи. Уже совсем ослабевшую, умирающую женщину по льду реки, по занесенной снегом голой тундре привезли в стойбище, определили в чум богатого главы рода. Стали ухаживать за ней да снадобьями лечить.

Убитая горем, она поначалу ничего не ела, даже не разговаривала. Все время тосковала, рыдала и плакала. На ноги встала после того, как закончилась полярная ночь и выглянуло над просторами тундры холодное февральское солнце. Тогда увидели все, что она высока ростом, что у нее очень длинные белые волосы. Волосы незнакомой женщины были совсем седыми...

Когда начал таять в тундре слежавшийся за зиму снег, незнакомка заговорила. Слова давались ей с трудом, но люди все же поняли, что она русская и зовут ее Дарьей, а попросту — Дашкой.

Летом, когда ушел из залива лед, у Дарьи родился сын. Мальчик был совсем светлым, с голубыми, как летнее небо, огромными глазами. К месту, где появился на свет малыш, съехались жители окрестной тундры. Кочевники стояли здесь больше двух недель, праздную рождение сына красивой русской женщины, о загадочном появлении которой в здешних местах разнеслась быстрая молва.

— Куда едешь? — спрашивали друг у друга оленеводы при встрече в тундре.

— К сыну Даски, — слышалось в ответ.

И имя русской женщины, произносимое долганями вот так — на свой лад, называлось с большим почтением, которое тундровики оказывают обычно самым уважаемым, хорошо известным среди кочевников людям.

Наступила осень. В очередной раз вышли на лов жирной сельди рыбаки. Работали, не разгибая спины, запасались на долгую зиму ряпушкой и муксуном, другой ры-

бой, поднимавшейся по Хатанге к морю так, что аж кипела-пенилась в реке стального цвета вода.

Нудные осенние дожди сменились снегопадами. Однажды в такой снегопад стал далеко в заливе большой корабль. Залепленные мокрым снегом паруса четко смотрелись на черной глади воды между двумя белыми берегами. Раздался пушечный выстрел, взвился над палубой белый-белый дым.

На утлой лодчонке доставили рыбаки Дарью с сыном к тому месту, где высадилась она прошлым летом. А туда уже подошла шлюпка с огромного роста людьми, одетыми в меховые одежды. Они сошли на берег, бережно приняли на руки ребенка и поочередно расцеловались с женщиной. Потом грустно прошли к могиле, долго стояли возле нее с непокрытыми головами. Двое, сняв верхние одежды, срубили топорами крест из сухих плавниковых бревен, вырезали ножом надпись на нем, поставили у изголовья умершего.

Постояв еще немного у насыпанного бугорка земли с крестом, выстрелили из ружей в воздух и направились к шлюпке, взяв на руки Дарью и ее ребенка. Каждому из рыбаков подарили по ружью с запасом пороха и зарядов, оставили им целый куль соли и много-много восковых свечей.

Впервые за многие месяцы увидели рыбаки всегда грустную, задумчивую Дашку радостной и веселой. Но, когда шлюпка стала отходить от берега, ее лицо опять померкло, а по щекам побежали слезы. Она, к удивлению моряков, неожиданно вдруг прыгнула в воду и вернулась на берег к провожавшим. Каждому из них низко поклонилась, каждого обняла и расцеловала, навсегда прощаясь с этими добрыми людьми.

Но всему приходит конец. Дарью почти силком заставили усесться в шлюпку. А когда она стала отходить от берега, женщина опять вскочила на ноги и потом, стоя на корме, долго-долго махала тем, кто принял такое живое участие в ее судьбе, не дав погибнуть ни ей, ни сыну. Стояла так до тех пор, пока шлюпка не подошла к кораблю и сильные руки моряков не подняли Дарью на палубу парусника.

Опять раздался выстрел. Корабль, вздрогнув, медленно стал отдаляться, а вскоре совсем растаял вдали, как будто и не было его здесь никогда.

Через пару недель сильные морозы сковали залив льдом. За это время парусник, наверное, успел уйти далеко. Но все равно морякам пришлось, видимо, где-то зимовать. Никаких, однако, слухов о них на побережье в ту зиму не было.

С тех пор место, где родился у Дашки сын, с чьей-то легкой руки стали называть Сындасско — сын Дашки значит. Потом кто-то из промысловиков построил здесь избушку из плавника. Возле нее тут же выросла еще одна, а за ней третья, четвертая...

Так возник небольшой поселок на берегу Хатангского залива, где и поныне живут потомки тех людей, которые помогли в трудную минуту русской женщине с неведомого корабля и ее маленькому сыну.

...Много воды унесла с тех пор в море Лаптевых тундровая река Хатанга. Немало, наверное, и более удивительных историй случалось на ее берегах. Но вот эта не исчезла из памяти поколений. И память о первопроходцах, обследовавших в свое время побережья Таймырского полуострова, нанесших их на карту, осталась в названии поселка да в легенде, рассказанной сентябрьским вечером на промысловой точке.

Когда однажды зимой я прилетел в Сындасско, то опять услышал эту древнюю легенду от пожилых людей живущих в самом поселке, и от молодых оленеводов, по-прежнему кочующих в тундре. Они готовы были даже указать то место на побережье залива, где когда-то давно высадились с парусника мужчина и женщина.

Рассказывали, однако, всякий раз по-разному. И все же в каждом новом изложении того, что когда-то здесь произошло, обязательно присутствовали русская женщина Дашка и ее сын.

Это мое повествование — всего лишь один из многих численных вариантов случившейся истории. В каких-то деталях оно, вполне возможно, будет отличаться от других. Но самую суть я постарался передать так, как услышал впервые на одной из отдаленных рыболовецких точек, что по Хатанге-реке. Это место, где каждый год в осени ловят они неводами спешащую отнереститься рыбу, тоже называется очень красиво — Золотые Пески.

## Любовь НЕСТЕР

*Живет и работает в Норильске.  
Публикуется впервые.*

### ПОСЛЕДНЯЯ САРАБАНДА

Расскажу удивительные две истории, в которых невероятно угадывается то, что мы называем Божеским участием. Мой сиятельный дедушка перед смертью дал свое последнее завещание: "Никогда не гонись за тем, что в своей первооснове материально, поставь впереди всего духовный соблазн, особенно это важно, если будешь жить в России. Научись отказывать прихотям тела, но иди за велением души, поставив разум на роль посредника". Так я и живу.

Бывают в жизни дни, которые помнишь до мелочей, и в моей таких очень, очень много. Начну с того, когда однажды мне дано было встать за дирижерский пульт.

Передо мной лежала партитура "Реквием" Моцарта. Я осмотрела оркестр — музыканты сияли! Как приятно им было видеть перед собой не тигрообразного беспощадного властителя своего — Главного, а его молодую, пусть и надменного вида, ученицу.

Партитуру я знала практически наизусть, так как именно на сопоставлении трех "Реквиемов" — Моцарта, Верди и Калинникова — Главный учил меня искусству понимания структуры оркестровой гармонии.

Наверное, чтобы сбить эту умиленность, я, даже для себя необычно низким голосом, жестко сказала: "Diesire". Музыканты удивленно перелистнули ноты, и...

Когда я уронила руки, в оркестре царил дух ошалелости. Ни один человек не предполагал, что потребую столько силы и отдачи, что буду так точна и повелительна. С этой минуты ко мне прилепили ярлык "Львица". И действительно, дальше, работая всегда как-то жестко и беспощадно, я, встав за пульт, видела уже не любованин, а некоторую затаенную затравленность.

Почему судьбе угодно было, чтобы дирижерскую практику я начала с "Реквиема"? Хотя случайности здесь никакой не было. Просто один академический хор взял его в работу, и нашему оркестру предстояло сопровождать.

Постепенно, постепенно я знакомилась с музыкантами. Моя способность заучивать наизусть партитуру приводила всех в восхищение, так как уверенность дирижера, заполняя каждого, дает невероятную легкость и ведет к полной отдаче.

Особенно благоговел передо мной старый, старый скрипач. Беловласый, высокий и очень худой мужчина лет

семидесяти, на вид уже довольно слабый и даже немощный, но когда он поднимал скрипку, невесть откуда брались и сила, и словно молодость. Звали музыканта все только по имени — Ян. Скрипка его часто мешала мне, звуча излишне резковато, и все говорили, что эту скрипку давно бы пора выбросить, да Ян с ней сросся. Это было так: когда он шел по улице, то нес скрипку, прижав к себе, как грудного ребенка. Она и завернута была так же.

С каждым днем я больше и больше начинала ощущать в себе потребность заботиться о этом слабеющем старце, и когда выяснилось, что мы живем рядом, я напрасилась в гости.

Как удивлена была, когда, вместо ожидаемого хаоса, увидела в его единственной комнате педантичную аккуратность! Узенькая односпальная кровать, большой старинный комод, просто громадное трюмо и кресло-качалка. Это все, что было в комнате. На мое удивление Ян ответил, что пожилая соседка помогает ему во всем, что касается быта. Мне очень нравилось у него бывать, так как все сильно напоминало о моем дедушке, умершем совсем недавно.

Когда начала ложиться зима и стали часты гололедицы, я заходила за Яном, и мы тихо-тихо шли к филармонии, он нес свою подругу жизни — скрипку, а я вела его, и после вечерних концертов провожала уже всегда.

Ян к счастью никогда не болел и никогда вообще ни на что не жаловался. Напротив, общение с ним несло какую-то временную энергию.

Прошла зима. Давно уже исполнили мы "Реквиемы", мне довелось с хором дирижировать только некоторые части "Реквиема" Верди, и в оркестре теперь я играла роль не дирижера, а солиста в фортепьянных концертах.

Как-то стоял тихий вешний вечер, оркестр разошелся, а я осталась, и еще часа два играла, а когда опустила крышку рояля и подняла глаза, увидела вдруг, что Ян все это время сидел на своем месте и слушал. Почему-то я невероятно обрадовалась. И Ян вдруг попросил меня сыграть что-нибудь ему:

— Сыграйте что-нибудь только для меня.

Я порылась в своем портфеле, взяла любимую сюиту и, перевернув ноты, остановилась на "Сарабанде".

— Можно что-нибудь мощное?

— Да-да, я именно мощного и прошу.

И я начала играть, максимально приближая звучание к органному, и вдруг... над моими густыми аккордами полилась мелодия! Скрипка Яна звучала, как голос одинокой юной Богини, нежно и отрешенно, то с всхлипами тоски, то с невероятной лаской. Звук был столь прекрасен, что я не верила своим ушам, словно это играл не старец на своей визгловатой подруге, а сам Орфей! Наверное, и я играла необычайно вдохновенно, так как у Яна по лицу лились и лились слезы.

Мы смолкли, и потом долго-долго сидели молча, глядя друг на друга. В конце концов Ян медленно поднялся, но это был уже не старик: он подошел ко мне удивительно



легкой походкой, словно был сильным молодым мужчиной, взял мою руку, поцеловал и хрипловатым шепотом выдохнул:

— Это была моя последняя сарабанда, — и повторил, уже как бы про себя. — Последняя сарабанда.

Прошло время. Стоял май. Я на неделю уезжала из города, а вернувшись, почему-то сразу направилась в филармонию.

Перед зданием стояло много машин, и всюду толпились люди. У первого попавшегося знакомого я спросила, что за торжество такое здесь сегодня происходит.

— Умер Ян, — ответили мне еле слышно.

Мне стало не плохо, мне стало страшно до отчаянья. Я начала пробиваться сквозь сплошную толпу во двор дома. И когда достигла центра, увидела высоко на постаменте гроб, укутанный цветами. Достичь его, коснуться Яна не было никакой возможности. Я стояла, смотрела и беззвучно шептала:

— Ян, Ян, Ян...

Вдруг кто-то взял меня за плечи — это был Главный. Он сильно стиснул меня и повел за собой. Я шла, повинуюсь, как ребенок. В какой-то комнате он намочил свой платок, обтер холодной влагой мне лицо и сказал:

— Сейчас будет прощальная панихида, и ты будешь дирижировать "Реквием" Моцарта.

Я сразу очнулась.

— Как, ведь с хором я его ни разу не работала!

— Ничего, оркестр у тебя готов, и этого достаточно, — сказал он это так просто и твердо, что я молча кивнула.

Когда мы вышли, люди отступили, а хор и оркестр уже готовы были к началу. Рядом с катафалком был сооружен высокий пульт, и Главный меня поставил на него так резко, что я не успела опомниться. За спиной теперь у меня был Ян, а внизу огромный хор и оркестр. Солнце слепило мне глаза даже через темные очки, но я сняла их. Теперь я не видела ничего, кроме неба.

Главный тихо-тихо, мерно-мерно, тяжело хлопнул в ладоши, и мои руки поплыли ввысь, и сразу за ними полилась лавина звуков нечеловеческого трагизма. Я чувствовала, что и хор, и оркестр, и я словно слились в единое, бесконечно страдающее, бескрайнее по силе и времени существо. Голоса солистов звучали так скорбно и возвышенно, будто каждый сам прощался с жизнью. Мольба и отчаянье переходили в величие и силу и рушились в смятение и боль. Я же словно держала на своих руках все живое в этом мире. За спиной моей господствовала сила смерти. А я невероятной музыкой Моцарта заслоняла весь мир от ее страшного всеислия. Люди же, наполнявшие все вокруг, тонули в едином чувстве величия света и безысходности утраты.

Напрасно я сейчас пытаюсь выразить словами то, что переживает человек, исполняя "Реквием" при усопшем, при огромном скоплении скорбящих — это слову не подвластно. Скажу лишь, что я не знаю, как можно было вы-

жить, испив этот триумф трагизма. Но и не знаю, какой смысл был бы мне жить, не переживи я всего этого.

Смутно помню, как и что происходило дальше в тот день, а на другой день я пришла на репетицию поздно. Странно опустошенно чувствовали себя все до единого музыканты, и работать было невозможно. Скоро зал опустел, а я села за рояль и тихо-тихо начала играть ту самую сарабанду. Потом опустила крышку и долго сидела, закрыв глаза, спокойно, словно Ян был здесь, и все вчерашнее мне только приснилось. Как-то неожиданно все внутри меня посветлело.

Спокойно встала, собрала ноты и направилась к двери. И вдруг остановилась, как если бы ударились о невидимую стену. Рядом с дверью я увидела... Из мусорной урны, ползувавшая бумагами и осыпанная пеплом и окурками выглядывала скрипка, вернее, ее головка без колков. Я похолодела, сразу поняв, что это скрипка Яна! Окаменело, и шевелясь, все смотрела и смотрела я на это страшное видение, потом вдруг заплакала в голос и выбежала из зала.

Никогда в жизни я не испытывала таких противоречивых чувств. Шла по улице, открыто плача, и дома до поздней ночи все катились и катились слезы.

Как!? Жил человек, играл всю жизнь на скрипке и достойно ушел из этого мира, и достойно и величественно его проводили люди, а скрипку, эту неотделимую часть его души, ободрали и бросили в мусорный бак.

Всю ночь я не могла уснуть, а утром рано-рано помчалась в филармонию. Меня гнал страх, что вечером уборщики выбросили скрипку, и я больше никогда не увижу ее. Сонный сторож не успел открыть дверь, как я уже полетела вверх по лестнице, забежала в зал и... скрипка была там! Я почему-то встала на колени, взяла ее и любовно ладонями очистила от пепла и мусора, а вслух говорила:

— Прости, прости...

Потом, завернув скрипку плащом, как это делал Ян пошла домой. Вытряхнув до пылинки, протерев красны вином и персиковым маслом, я завернула скрипку, как ребенка, и легла с ней спать. Потом уже, после обеда, пошла купила колки, струны, подставку и "одела" скрипку, весь вечер смотрела на нее, моля прощения за то, что кто-то черствый и невежественный так поступил с ней.

Я успокаивала скрипку Яна, словно говоря:

— Ведь будь иначе, тебя наверняка похоронили бы с хозяином, а теперь ты останешься со мной навсегда, а значит и навсегда останется со мной Ян.

Скрипка же меня благодарила тем, что выглядела просто, но достойно, словно отвечала:

— Ты будешь меня любить вечно, и хорошо, что ты умеешь на мне играть — значит, я никогда не разочарую тебя своим звуком.

И я стала беречь эту скрипку, как самое сокровенное — ведь всегда, касаясь ладонью ее, слышу лебединую песню Яна, ту нашу "Последнюю сарабанду".

Часто ли случается в жизни удивительное, ирреально граничащее с наваждением? В моей — да! Много еще, мне

го расскажу я феерически снопоподобного... Но сегодня непременно завершу начатое недавно откровение.

Очень, очень редко в нашей филармонии мелькали две девушки — близнецы, похожие до невероятного, в невероятной внешности своей. Обе они были огненно-рыжие, лица их (точнее бы — лицо) не отличались красотой, но манили удивительной приятностью, поражая странной неулыбчивостью и словно отрешенностью. Кого я ни спрашивала, никто не знал их имен и что делают, но неприсутственность к музыке в них угадывалась явно.

Меня эти девушки словно завораживали и особенно когда находились вместе. То есть, я чувствовала, что одна из них притягивала меня. Она всегда провожала меня своим проходящим насквозь взглядом. Познакомиться же не представлялось случая. Девушки, так похожие на двоящееся огненно-закатное солнце, вдруг исчезали и так надолго, что я забывала о них.

Однажды летом, совершенно случайно, в городе, где я останавливалась проездом на несколько дней, судьба свела нас удивительно просто.

Выйдя из гостиницы, я подняла руку, ловя такси. Остановилась машина. Я села рядом с водителем и оглянулась. С заднего сиденья, мягко улыбаясь, на меня смотрела одна из огненных девушек, она-то меня и подобрала. Мы сразу начали разговаривать как давние знакомые, и когда я узнала, что она едет на концерт, сразу напросилась на приглашение. От ощущения восторга я готова была ехать куда угодно, лишь бы не потерять ее, и все расспрашивала и расспрашивала, а девушка словно спешила побольше рассказать. Когда машина остановилась, я уже многое знала о гастролях, о том, что они работают от нашей филармонии, но почти всегда разъезжают, давая массу концертов.

Подъехали к парку. И пока шли по аллее, девушка коротко, но с совершенным восхищением дорассказала, что она работает ассистенткой, а ее сестра импрессарио у необыкновенного артиста.

Мы подошли к очень уютной эстраде без ограды, плотно окруженной деревьями. Парковые скамьи, поставленные свободными рядами, были все заняты. Девушка провела меня за кулисы, вернее, это были и не кулисы, а просто занавес, сооруженный на летней открытой сцене. Со стороны зрителей посредине этого занавеса открывалось окно, являющее нечто вроде панорамы миниатюрного театра, если смотришь со сцены, вернее и не театра, а циркового зала с реалистически выполненной ареной где-то около метра диаметром. За кулисами же этот крошечный цирк поставлен был на нескольких столах. Это было похоже на детский манеж, где вместо сетки натянута черная, шитый золотыми и алыми нитями, бархат. Здесь, чтобы увидеть арену, нужно встать на стол.

Девушка познакомила меня со своей сестрой и больше там никого не было. Я пришла в полное недоумение: а где артисты? И тут появился мужчина... Я сразу узнала его! Так вот кто этот загадочный джентльмен, что иногда мелькал в дебрях нашей филармонии, как тень ослепительной кра-

соты привидения! Мужчина, едва кивнув мне, взлетел на стол. До его груди доходили стены игрушечного циркового зала, а выше от зрителей все скрывал большой занавес. Слегка согнувшись, он навис над ареной. Одна из сестер включила магнитофон. Пошла музыка из фильма "Цирк", и здесь я впервые увидела совершенно невероятное — вторая девушка быстро и фантастически точно одевала на вытянутые руки мужчины бесчисленные нити, на которых висели марионетки. Куклы-звери выглядели совершенно натурально, хотя были совсем миниатюрные. Почти невидимые нити тянулись вверх, и малейшее движение рук или пальцев словно оживляло кукол. Я быстро спустилась со сцены, под села к кому-то на первой скамье и стала смотреть.

Никогда ничего подобного я не могла прежде и предположить. На маленькой арене происходило то, что бывает в нормальном цирковом представлении. Но все здесь — клоуны, звери и люди — были искусно изготовленными куклами, приводимыми в движение при помощи нитей, причем они поражали не только подвижностью своей, но и голосами. Зная, что все это творит один человек, я просто не верила своим глазам и ушам: каким же удивительным мастером звукоподражания был этот ювелирный кукловод!

Когда представление окончилось, я ошалело поднялась на сцену, за кулисы. Артист, только что творивший невероятное, полулежал на стуле, закрыв глаза, словно лишенный малейшей возможности шевелиться. Одна из сестер стояла сзади и через расстегнутую рубашку растирала ему плечи. Вторая сидела на столе, свесив ноги, и тоже, словно без капли сил, пусто смотрела в пол. Только что обуревавший меня восторг перешел в оцепенение. Так вот как они выкладываются... Моментально мне самой передалось это состояние опустошения, я села рядом с девушкой-ассистенткой и смотрела, смотрела на артиста, похожего на бездыханного серафима.

Постепенно он начал приходить в себя и, когда открыл глаза, увидев меня, улыбнулся и тихо сказал, словно оправдываясь:

— Вот так-то, маэстро!

Почему-то я сразу поняла, что этот человек присутствовал при исполнении моем "Реквиема" на похоронах Яна, и он взглядом словно подтвердил это.

Потом я с интересом смотрела, как они собирали реквизит, как быстро и профессионально складывали девушки кукол, с их бесчисленными нитями, в большие плоские чемоданы, как невероятно компактно собирались телескопические стойки, на которых держался большой занавес. Для полного сбора хватило полчаса, за это время с удивлением я узнала, что все-все изготовлено руками этого артиста — воистину Мастера. Вчетвером мы сели в машину и приехали в небольшую гостиницу, снесли чемоданы и потом долго сидели в тихом, полупустом ресторанчике. Наконец, я узнала имена девушек, артиста и многое, еще многое из жизни этого удивительного трио. Главное

же было то, что я впервые в жизни сидела напротив человека, от которого всегда исходило какое-то свечение. Нет, ничего выдающегося в его внешности не было. Черты лица словно и неправильные, но особенной красоты. Глаза же посверкивали каким-то магически тайным огнем. Я поняла сразу — обе эти двуединые девушки любят этого человека и не просто любят, а находятся полностью в его власти.

Где отрешенность лиц и взглядов? Обе огненные однолицые сестры здесь блаженствовали в довольстве и неукрываемой радости внутреннего напряжения.

Еще несколько дней я провела в этой необычной компании. Ездил на концерты, и после каждого видел почти всегда одно и то же — полную отдачу артиста и его помощниц. Как они умели понимать этого мага, как молниеносно снимали нити одних кукол и надевали нити других, безошибочно выполняя эту, не допускающую оплошности, работу. Это был истинный образец единства. Как я догадывалась, и не только в работе.

Очень не хотелось мне расставаться с этой тройкой, столь не похожей на все виденное мной раньше! Но пришел день, и я улетила на свое беломраморное море.

Наступила осень. Я вернулась в город, и зажила обычной своей, необычайно насыщенной жизнью, вспоминая часто теплое лето и, особенно, встречу со славными сестрами и воистину гениальным их возлюбленным. Внутренне я все время ждала их появления.

Время шло, но от марионеточного цирка не было ни слуха, ни духа, и я решила разузнать — где они и когда, наконец, появятся.

Невероятно! Мастер будто бы был где-то здесь, а о его девушках никто ничего не слышал. Я разузнала его адрес. Дом был почти в самом центре города, но в очень старых постройках, подлежащих реставрации, а посему запущенных до невозможного. Двери открыла очень старенькая женщина, и как же она просияла, когда я сказала, кого ищу. Она просто дышала на меня от благодарности. Когда мы вошли в большую комнату, я опешила: на стенах висели несколько больших кукол с огненно-рыжими волосами и с совершенно одним хорошо знакомым мне лицом. Я неожиданно для себя подошла к одной из них и потянула за первую попавшуюся под руку нить: изящная ручка куклы пошла вверх и застыла, словно предлагая себя для поцелуя. Это было так мастерски сделано, что я громко воскликнула:

— Где Он?

И мать Мастера стала подробно все рассказывать мне так доверительно и так любовно, словно давно ждала меня.

Рассказала и то, что летом, во время гастролей в каком-то городе, солнечные девушки внезапно покинули своего любимого, взяв слово, что никогда он не станет их искать. Они просто исчезли. Он же, потрясенный неожиданностью их решения, впал в такую депрессию, что пришлось прибегнуть к лечению, но теперь скоро поправится и должен вернуться.

Я сидела, слушала эту странную историю и ловила себя на той мысли, что мне приятно находиться в этом доме, с этой пожилой женщиной.

Пора было уходить, и я пообещала приходить часто. Действительно, меня тянуло в этот, таинственного вида, дом, как в родной, и однажды я согласилась остаться ночевать.

Стало темнеть, и тут началось что-то странное: мама Мастера закрыла тяжелые ставни, из комнаты замкнула их на замки, потом так же тщательно на несколько замков заперла все двери.

Постелила она мне на узкой кушетке в комнате, где и сама спала. Все было славно, но эта задрюченность окон и дверей мне действовала на нервы. Когда мы легли, я начала думать, что же такое все это значит? Сначала решила, что дорогие куклы требуют этих охранных мер, но как я себя ни убеждала, было неясно, тревожно. Думала о сестрах, об их судьбе и об их копиях, висящих по стенам в соседней комнате, но тревога росла и росла. Я лежала едва дыша в этой кромешной тьме, и хозяйка почувствовала, что я не сплю. Вдруг она включила свет, накинула халат из темного шелка и, присев, начала доставать из-под своей кровати большой чемодан, такой, в каких возили мы на концерты кукол. Поставила его на кровать и ритуально как-то, медленно-медленно начала его открывать. Вместо ожидаемых мной зверей я увидела один большой сверток. Меня охватил ужас: сверток по конфигурации напоминал ребенка в пеленах, а женщина, именно как ребенка, осторожно и ласково вынула этот сверток и аккуратно начала его разворачивать. Я уже готова была закричать от страха, когда увидела вдруг, что в последних пеленах сверток явно напомнил очертания скрипки. Я, наконец, глотнула воздуха, согнав с себя наваждение ужаса.

Да, это была скрипка! Теперь я расслабилась и стала слушать ее историю.

Многие, многие годы эта скрипка принадлежала знатному роду и переходила из рук в руки по завещаниям. Немало славных музыкантов восхищались ее звуком, и последним, кто играл на ней, был отец Мастера. Скрипка молчит уже более двадцати лет, так как сын с раннего детства увлекся кукольным театром: сначала у него был просто театр марионеток, позднее же способность к звукоподражанию привела его к созданию зверей, и он сделал цирковую программу. Полностью сам делает зверей, и только он их может водить из-за предельной сложности. Нужно было, чтобы кто-то мог помогать одевать нити, и Мастер нашел двух юных, необыкновенных девушек. Долго, упорно он учил их, и, наконец, пошли эти удивительные спектакли, месяц от месяца доводимые до совершенства. Но что-то произошло, и девушки вдруг уехали, и теперь вряд ли Мастер станет возобновлять обучение кого-то, а значит и после излечения работать будет ему невозможно.

Почти до утра проговорили мы в ту ночь. А на моей подушке лежала скрипка. И мне не казалось странным, что скрипка эта так грела мне руки, когда я касалась ее.

Как-то в ответ на это откровение я рассказала о Яне и его скрипке, и после этого рассказа мама Мастера стала относиться ко мне особенно ласково. Прошел месяц, и Мастер вернулся. Он выглядел здоровым и почти бодрым. Не увидев своих рыжеволосых кукол (мы решили их убрать), он даже не спросил о них. Мне же был искренне рад.

С этого дня все свое свободное время проводила я в этом доме. Никогда прежде я не знала, что между мужчиной и женщиной может возникнуть такая дружба. Мы могли говорить часами, почти всегда во всем совпадая. И под действием ли этих встреч или по другим причинам, Мастер постепенно начал делать совершенно новую коллекцию кукол. Это были герои шекспировских пьес.

Все было прекрасно. Но мама Мастера начала как-то угасать и таять. Она все молчала и только слушала наши нескончаемые беседы. Это словно было ее последним счастьем. Пришли дни, когда я уже не уходила из этого дома, неотрывно сидела у постели. И пришел час прощания. Как удивительно умиротворенно отлетела ее душа, как тихо и достойно!

Мы все исполнили по завещанию, а когда вернулись в дом, Мастер достал чемодан, взял бережно скрипку и подал ее мне, сказав:

— В паре со скрипкой Яна ей будет теплее.

Я приняла дар этот просто и была неземно счастлива, но совсем не потому, что знала материальную цену (ведь видела, как охранялся этот старинный инструмент), а потому бы я взяла на руки подругу, что возжелала соединиться со скрипкой Яна.

Вскоре Мастер покинул наш город и страну. Он навсегда уехал далеко-далеко.

Так вот у меня рядом со скрипкой Яна появилась еще одна, столь же дорогая памятью.

Позже появилась очень старая виолончель: в соседнем доме, приготовленном на слом, дети нашего двора, с которыми я часто вела дружеские беседы, посвящая их в музыку, нашли брошенные инструменты, и я забрала оттуда старинную гитару и виолончель. Так началась моя чудесная коллекция.

Но пока завершу этот рассказ коротко вот чем.

Как-то по телевизору шла передача об одной знаменитой частной коллекции струнных инструментов. И владелец этой коллекции рассказал, что он давно ищет недостающие у него две скрипки не очень знаменитого, но выдающегося скрипичного мастера. По истории известно, что мастер этот в расцвете творческих сил сделал пару: две лучших своих скрипки, назвав их "Адам" и "Ева". Эти два инструмента имеют особое клеймо: знаток-коллекционер показал, как оно выглядит и где должно стоять.

К этому времени у меня было уже пять скрипок. Прошли дни, и захотелось взять в руки самую дорогую мне подругу — скрипку Яна. Я ласково провела по струнам и вдруг... увидела полустершееся клеймо! Я взяла лупу... и явственно различила знак, который должен стоять на скрипке "Ева"! Руки у меня задрожали, я всматривалась и

всматривалась — да, это была она! Тогда я, как глупая, стала искать и на другой скрипке знак "Адама". Но его не было. Не было его и на третьей, и на четвертой.

Имя мастера скрипки, подаренной мне Мастером, я знала, но все же решила посмотреть. Я взяла скрипку с грустью и некоторым сожалением и... на меня ярко смотрел второй знак, знак скрипки с именем "Адам"!

Я не могла поверить, что это все не наваждение. Да, передо мной, несомненно, лежали две скрипки, созданные одной рукой! Две судьбы, сошедшие так случайно в единое свое изначальное состояние. Так, выходит, совершенно ирреально я оказалась владелицей "Адама" и "Евы" — этой пары, прошедшей столь разный путь в мире людей.

Вот она, непредсказуемость совпадений! Ведь мало того что эти скрипки так случайно, необычайно у меня соединились. Еще и я, случайно включив телевизор, попала на момент рассказа об этих уникальных инструментах.

Я до сих пор не убеждена твердо в подлинности скрипок и достоверности истории их создания. Все еще не могу верить в эту явь.

Всегда помню "Последнюю сарабанду" Яна, пропетую "Евой", так случайно спасенной мною. И только раз слышала я, как звучит бережно охраняемый многие годы "Адам"... Только один раз...

Этой, еще не законченной, историей скрипок я завершаю главу с названием "Последняя сарабанда", очень надеясь, что однажды захочу вернуться и подробно рассказать то многое, что теперь опустила.

## Виктор САМУЙЛОВ

*Родился в 1951 году в Калининской области.  
Школа. Работа. Армия. Отлетал восемь лет  
в морской авиации. Десять лет на Севере.  
Работает на трассе газопровода.  
Печатался в "Заполярном вестнике".*

### ПРОСТОЕ ЗАДАНИЕ

Выходные капитан Борисов особенно не ждал. Да и что могло измениться в привычном распорядке небольшого гарнизона, уютно собранного у подножья невысоких сопкок: летом — сонного от пыли и зноя, зимой — съевшегося, затихшего от жесткого ветра и мороза.

Только пару недель в конце сентября можно было почувствовать, осознать величие этого края. Уссурийская тайга — не поленись, только перемахни через гряды сопкок и увидишь вековой кедр, дикий виноград, лимонник. Тихие сумрачные распадки таят в себе сказочные богатства, нетронутую, первозданную красоту.

Если проберешься с удочками, то в холодном, чистом, как слеза, стремительном горном ручейке, на быстринке, перед небольшим омутком, надергаешь десятка два изумрудно-пятнистых форелюшек, бесподобно вкусных хоть в ухе, хоть в жарехе. Набьешь и нашелушишь мешок крупных кедровых орехов, наберешь столько всего, что потом придется еще не раз на подгибающихся от усталости ногах возвращаться к сложенному в укромном месте богатству, ругая себя за жадность.

Но в этом году Борисову не повезло. Бабье лето, золотую приморскую осень он вспоминал за многие сотни километров от родного гарнизона. Как они ни спешили, их большой противолодочный корабль — БПК "Киров" — прибыл в порт приписки только по первым морозам.

Пятнадцать суток им дали отдохнуть, а там опять все по порядку, все по плану. Кому нужно — все рассказано, с кем хотелось — все выпито. Новости те же, что и пять, что и десять лет назад. Отпуск он отгулял в начале года. Развеяться, набраться сил, бродя по тайге, не пришлось.

И если обычно Борисов месяца два-три вел себя примерно, то в этот раз уже через месяц он тяжело завздыхал, насутился, чаще стал задерживаться на службе. Жена раздражалась, потихоньку ворчала, сын с затаенной тревогой посматривал на папу, зная наверняка, что тот снова уйдет в поход. Конечно, после возвращения отца с моря в его комнате появлялось много игрушек. Но подарки папу не замечают. Скоро надоедят. Через неделю он их свалит в угол, часть раздарит сверстникам. По вечерам мама будет вытаскивать огромную карту, голубой ниточкой прокладывать маршрут их корабля, помечая порты и время стоянки. И сколько себя помнит сынишка, столько помнит эту огромную, в полкомнаты, карту. Мама, иногда всплакнув, что-то посчитает: "Из десяти лет шесть мы его ждем".

Все это Виктор знал, чувствовал свою вину. Можно было уйти из корабельной авиации, но с собой уже ничего поделать не мог и не хотел. Да и все они, повязанные и небом, и морем, мучились и маялись на берегу в уютном спокойном климате гарнизонной жизни...

...Командир уже намекнул — готовьтесь. Штурман экипажа Мишка Леонов обычно команды не ждал. Заметив перепад в настроении командира с безучастно-подавленного на раздраженно-нетерпеливое, потихоньку начинал возиться с документацией...

...Ходили они вместе на боевую службу уже не раз, притерлись друг к другу. И если у командира в глазах появлялся живой блеск, Леонов безошибочно определял: нужно поспешать, все сухопутные дела завершить, заготовить дров для титана, продукты, кое-что подремонтировать в квартире.

В этот раз, в выходные, Борисов хотел с сыном сходить в тайгу, распилить, расколоть присмотренную сушину. Но в субботу, с утра, по команде замполита изобраили что-то вроде субботника, походили по закрепленным территориям вокруг своих домов, собрали бумаги, палки, разный мусор, сгребли подмерзшую грязь с асфальтовых дорожек в кучи, загрузили весь этот мусор в самосвал.

К этому времени, по негласной традиции, в одном из гаражей был приготовлен стол. Техник по вооружению старший лейтенант Алехин, временный холостяк, сбегал в магазин, купил водочки, немудреной закуски. Все это со вкусом разложил на железном верстаке и в нетерпении притопывал возле Борисова, загружающего мусором самосвал.

— Киснет, Виктор, поспешай!

— Спешешь? Бери лопату!

— Стоп, командир! Забыл! Сбегаю за салом, мне жена только что прислала.

— Ну и жук! — засмеялся сосед, Сергей Аржанов. — Как работать — не хочет, даже на сало раскошелился.

Закончив работу, они потихоньку, с предосторожностями, потянулись в сторону гаражей. Хотелось посидеть, поболтать в мужской компании, вольно расстегнуться, расслабиться, пошуметь, побузить. Через пару часов понемногу разбредались. Кто-то подходил, кто-то уходил. Постепенно вырисовывалась группа, готовящаяся к боевой службе. Алехин мчался за новой порцией выпивки, и "заверстачье боевое", как смеялся тот же гонец, вступало в новую фазу.

Жены, прекрасно знавшие местонахождение компании боевых товарищей, терпеливо ждали, когда их главы семейств, расслабившись в кругу друзей, все-таки вернуться к домашнему очагу. И если такое не случалось, но отпущенное время вышло, снаряжали жену техника вертолета Алимова — Клару Федоровну. Самим ходить — только время тратить! Мужики отнекивались фразами "Все! Иду!", "Да вот, уже встал. Иди, догоню!" и кое-что похлеще. И только потомок Чингиз-хана, железная татарка, могла в мгновение ока разогнать их компанию.

Кровь ее диких предков бурлила неистребимой жадной боя. Если кто-то, подогретый спиртным, терял бдительность, последствия могли быть самые неожиданные. Както забрел к ним Мишка Леонов и решил приструнить женщину. Ему было непонятно, почему мужики, как нашкотившие коты, осторожно протискиваются мимо Клары Федоровны, стараясь не только не задеть ее, но даже не дышать...

...Жигулевский скат сбил Мишку с ног, второго он ждаль не стал. Потом он подшучивал над Алимовым:

— Твой предок, наверное, у ее пра-пра... кобыл доил?

— Не знаю, кто доил, а дома — я хозяин!

И не раз бывая в гостях у техника, Борисов подтверждал правдивость его слов.

— Что-то не верится! Если ты из гаража, как овечий хвост, вылетаешь, что ты дома можешь против этого вояки в юбке выставить?

На подначки Мишки Алимов не реагировал: по возрасту он Леонову годился в отцы. У него росли две красавицы-дочери. Одну, старшую, он прочил штурману в жены.

— Калым готовь, — наставлял он жениха, — две сотни овец, пятьдесят кобыл, обязательно жеребец!

— Это ты мне готовь, — отбрыкивался Мишка, — я много не запрошу, мне “жигуленка” хватит!

— Эх, ты! — укоризненно качал головой Алимов. — Мало тебе “жигулевского” ската.

— Нет, как раз, хватит, — смеялся Леонов, — пожалуй, и от “жигуленка” откажусь, четыре колеса все-таки!

Борисов дома, попив чайку, быстро разделся и нырнул в постель, особенно не слушая привычной воркотни жены. Уже засыпая, подумал: “Вытрезвитель, а не квартира... Дома построили, к ним котельная новая. Часть труб отопления не заменили. Давление до проектного поднять нельзя — лопнут. Ветер выдувает тепло, как из дырявого тулупа”.

В воскресенье он встал чуть свет, в одиночестве попил чаю, поболтался по квартире, стараясь не разбудить жену и сына, потом решил сходить за дровами, хотя дров, мелко колотых сухих дубовых и березовых у него почти целый подвал, на три года вперед. Но любил он поболтаться по тайге, подышать чистым воздухом, поширкать пилой, вспотеть, сбросить шапку, присесть на пенек, прислушаться к чуткой, зыбкой тишине. Немного взбодрившись, взял приготовленный с неделю назад мешок с ножовкой и топором, побаюкал его в руке и опять забросил под ванну. Оделся, вышел в гарнизон, в гаражи заходить не хотелось: “На опохмелку потянут, а завтра полеты”. На стадионе мелькала ребятня, слышались звонкие крики, смех. Решил пойти, посмотреть, может, и самому захочется побегать. Ребятня играла в “дыр-дыр”, так они между собой называли мини-футбол. Раза три выходил на поле и Борисов. Согревшись, он опять облакачивался на бортик хоккейной коробки, пока еще не залитой для игры с шайбой.

К вечеру, окончательно умаявшись и продрогнув, забрел в гарнизонную кафеюшку, рискуя, при случае, быть отстраненным от завтрашних ночных полетов. Немного постоял, всматриваясь через витражи внутрь притемненного разноцветом мигающих огоньков цветомузыки небольшого зальчика, свободно заставленного столиками, усмехнулся: “Вот дожили! Зайти, посидеть, перекусить, погреться боимся, а как же, за стойкой — коньячок, шампанское, иногда бывает и пиво. Если сунул нос сюда, даже взяв просто стакан сока и какой-нибудь пирожок, — ты уже на крючке. Начнут следить. Может, ты — тихушник-алкаш, сюда нацелился, а пьешь пока под одеялом. Значит, надо предупредить. И начнет затем, словно ненароком, выписывать круги замполит вокруг тебя, при встрече внимательно заглядывать в глаза, участливо спрашивать о здоровье. Обязательно посетует на плохой вид, красные глаза: “Песок попал, ветер надул?” — предположит ехидно. Потом на

предполетных осмотрах доктор по несколько раз будет давить грушу, удивленно посматривая на тонометр: “Так, вроде норма, ну а пульс? И тут порядок?” Командир, здороваясь, обязательно воткнется носом тебе в подбородок, заводит усами, пытаясь поймать запретный запашок.

И неожиданно для себя, молодой, уверенный, перспективный, начинаешь чувствовать медленное, неуклонное отторжение. Статный, резвый стригунок, махом носившийся по ипподрому, гордо показывающий свою прыть, рвущуюся скрытую мощь и силу, под восхищенные взгляды зевая неожиданно стусевался, сбился, засакал, и — все! Посматривают только для порядка, лишь бы не нашкодил. Кто-то другой, более молодой, летает теперь, задрал хвост, под одобрительный свист ошалевшей от жира и денег толпы! А ты уже серая рабочая лошадка, конечно, крепкая, сильная, выносливая! За тобою смотрят, следят. Ты нужна еще, нужна. Не замечая усталости, тащишь чуть не до финиша молодых, беспечных. Свой опыт, знания — им, все отдаешь без сожаления! Понимаешь: придет и их время, и из них сделают серых лошадок, и перед самым финишем так же, швыряя комья грязи в лицо, стремительно унесется вперед полный сил и здоровья очередной перспективный.

— “Мне-то чего теперь бояться? — подумал Борисов. — Я всего лишь рабочая лошадка, — открывая дверь и, невольно настороженно, всматриваясь в сидевших возле небольшой сцены офицеров. — Вроде свои, — подсадовал, — все равно оглядываюсь. Неужели на всю жизнь испугали?”

К столику он подошел, чувствуя внутри беспричинно закипающую злость.

— Без тебя тут, конечно, не обошлось, — бросил своему штурману Мише Леонову.

Худой, тощий, пьяница и несусветный бабник, но неплохой штурман, командира своего он хорошо знал, подскочил к Виктору:

— Командир, успокойся, тут такое дело, повод есть, — затараторил штурман.

— Садись, садись, командир, — пробасил Мишкин друг и собутыльник Генка Рылеев, — мы помалу, чисто символически.

— Знаю я ваши “помалу”. Надеретесь, как бобики, потом по бабам, а завтра полеты ночные.

— Да что там, на целуказание, всего-то, маршрутик на два сорок, — опять затрещал Мишка.

— Конечно, маршрутик, весь полет проспичь.

— Ну, командир, ты же его наизусть знаешь, я тебе только мешаю.

— Ладно, помолчи. Садись, капитан, — пробасил Генка. — Уехала моя на запад, бросила меня, пусть земля ей будет пухом.

— Ты чего городишь? — удивился всегда сдержанному Рылееву Виктор. — Вернется.

— Нет, не вернется. Ей есть к кому ехать.

— Неизвестно, кому повезло, — опять влез Мишка, — вот у меня, например...

— Какой ты пример, — засмеялся Генка, — за одно место все твои примеры цепляются.

— А ну вас, — махнул рукой Леонов, кивнув на столик. — Что будешь, командир?

— Пивка попить. Хватит, вчера после бани вроде лишнего взял.

— Да разве можно пивом такое дело поправлять? — обрадовался штурман. — Дерни коньячка.

— А, давай, — махнул рукой Борисов, тем более, болтаясь целый день на улице, промерз до костей, не июнь — декабрь на дворе.

Выпив еще рюмочку, прислушался к себе: пить не хотелось. Послушав немного друзей, поднялся.

— Эй, ты куда, командир? Давай еще по одной! — кричал Мишка.

— Нет, хватит, как-то не так, что-то не идет. Да и ты, давай, закружайся.

— Сей момент, не оставлять же! — показал он на полупустой графинчик.

Попрощавшись с офицерами, Борисов вышел из кафе. К вечеру подморозило, потягивал ветерок. Как говорил наш метеоролог, погода региона на зимний период обуславливается влиянием сибирского антициклона, отсюда мороз, жесткий ветер.

“Черт бы драл этого “сибиряка”, — подумал Виктор, — дома, наверное, опять холод”.

Четыре панельные пятиэтажки гарнизон ждал, как избавление от квартирной головной боли. До этого жили в коммунальках на три семьи: одна кухня, одна ванная с титаном, общий коридор. Случаев, как трагичных, так и смешных, хватало. У молодых и проблемы по возрасту. Досаждали частые походы на боевую службу эскадрилий КА-25. Почти всегда кто-то болтался в районе Индийского океана месяца три-четыре обязательно, иногда и больше, если не готов на смену экипаж. Да и попробуй доставь его за тридевять земель!

Без мужей и скучно, и грустно! Чаше всего подселение бывало не особенно удачным в том смысле, что молодая жена надолго оставалась с опытными, вкисившими прелести одиночества гарнизонной жизни соседками. Вспомнив себя молодым лейтенанчиком, Борисов взгрустнул, остановился напротив деревянного двухэтажного здания: на втором этаже окна выбиты, внизу — целые, на них простенькие занавесочки: “Кто там сейчас живет? Может, Тамара? Нет, говорят, уехала”.

Такой казус вспомнился. Жена его мылась в ванной. Воду грели дровами, поэтому берегли и воду и дрова. Одно-го титана воды хватало на семью. Так получилось, Виктор заговорился с соседом. Вспомнив, что нужно мыться, схватил полотенце и, влетев в ванную комнату, быстренько разделся. Жена стояла с намыленной головой, мельком отметил: “Раздобрела моя Лена, какие бедра стали, какая грудь! Молод ведь был, и сейчас не стар, заводился с полуслова тогда. Сейчас уже проблемы. Легкая работа убавляет жеребьячей прыти. От нетерпения разливая по кафелю воду, заскочил в ванну и молча, с придыханием, согнул жену, хлопнув ее по спине: “Давай быстрее”, — прошептал, и уже когда вошел в нее, понял, что здесь что-то не то. Не Ленкина фигура, слишком широкие мощные бедра, спина крепче и цвет волос не тот. Мелькнула мысль птицей: “А вдруг моя войдет?” У Тамары муж был в командировке. Нет, никто не вошел. Успел. Женщина даже не повернулась лицом, только выпрямилась, отвернувшись к стене. Все ее тело стало пунцово-красным, потом она расслабленно сползла в ванну. Плечи ее мелко тряслись. “Смеется или плачет?” — подумал он, выскакивая в коридор.

С месяц при встрече с Борисовым Тамара краснела, отворачивалась. В какой-то общий праздник, подогретые вином, они объяснились. Встречались они нечасто. Сам он их отношения серьезными не считал. Время для него было сложное. Только после училища. Момент становления. Голова болела мыслями о карьере. Как себя покажешь, так и дальше пойдешь. Могли и аморалку пришить. Ему казалось, что и молодая женщина тяготится их связью.

Кто знает, было ли это на самом деле или он заставлял себя так думать. Но Тамара ушла от мужа. А недавно услышал — вроде уехала совсем. Куда? Неизвестно. Все чаще приходило запоздалое чувство раскаяния, вины, что не без его участия оказалась сломанной судьба женщины. Тайные встречи ему быстро надоели. Жену свою, может, он и не слишком любил, но бабником себя не считал. Да и сложное было в маленьком гарнизоне сохранить такие отношения от постороннего взгляда. Стал уклоняться от свиданий и с облегчением вздохнул, когда ему дали квартиру в новом доме. При встрече только здоровался. Ни разу не остановился Виктор поговорить с Тамарой. Не чурбан он был — видел в глазах женщины ждущую тоску. Успокаивал себя “Ни к чему все это, сама виновата, могла бы от мужа и не уходить, только мужику “свиняшку” подложила, теперь рядовых технарях так и завянет”. Ну а если откровенно, не раз и не два в последний момент он убирал руку, готовую стукнуть в знакомое окошко.

Прошло время. Теперь можно было признаться себе струсил. Любил он эту женщину, но моральный облик офицера, верность долгу, к тому же коммунист, — удержали его в рамках приличия. Задал в себе святое светлое чувство, может быть, единственную ценность, ради которой можно совершить любой безрассудный поступок, переступить через эти запреты, условности, почувствовать себя настоящим полноценным мужиком.

“А я ведь даже не представляю, что это такое — настоящий мужик и человек, — подумал Борисов. — Отказаться от любимой женщины... Две недели голодным, обморозиться, оказаться без ног, — наверное, это не все. К этому я готов. От женщины я отказался, осталось обморозиться да поголодать. И это не самое главное. Острой болью заныло: просвистела, пролетела его жар-птица, перышки в руке остались, как напоминание о далеком и грустном. Кто же мы такие? Боимся чистых чувств, давим их в зародыше: страх за себя, за семью, за завтрашний день”.

“Кстати, о завтрашнем дне. Пора на отдых”, — будто вспомнил он. Две рюмки коньяка уже не грели, и Виктор чувствительно озяб.

Жена встретила его с неприкрытой враждебностью: “Где шлялся? Сын болеет, а он гуляет! А ну, дыхни!” — подступила она к нему. В обычное время Борисов униженно начал бы врать, выкручиваться, придумывал более или менее достоверные причины “усугубления”. Врал он всегда очень вдохновенно, готовился к встрече заранее, по дороге домой репетируя интонацию, жесты, позы. Со стороны он, конечно, странно выглядел, но сегодня молча отодвинул оторопевшую Лену в сторону, прошел в спальню к сыну:

— В чем дело, парень?

Тот показал на горло.

— Ага, опять ангина. Ну ничего, — потрепал он сынишку по крепкой макушке, — до свадьбы заживет.

Сын покрутил головой.

— Не хочешь до свадьбы? Ну, значит, завтра будешь здоров.

Тот опять замотал ушастью, подстриженной под ноль головенкой.

— И чего же ты хочешь?

— Телевизор хочет смотреть, — выглянула жена из кухни.

— Ну пусть смотрит, быстрее поправится.

— Никаких смотрений. Все. Время вышло, спать укладывайся.

Посмотрев на враз налившимся влагой голубые глазенки сына, Виктор схватил его вместе с одеялом и подушкой и перенес в комнату на диван, включил телевизор.

— Пап! Смотри, про войну кино, можно я посмотрю? — жалобно просяще глядел на отца мальчишка, и сразу же без перехода его лицо засветилось, засияло.

Борисов отвернулся, стараясь скрыть завлажневшие глаза. К горлу подступил ком. Сколько радости, неподдельного открытого детского счастья от такой, вроде небольшой, уступки с его стороны!

— Пап! Посиди со мной! — просипел сын.

Устало опустившись на диван рядом с сыном, Виктор притянул к себе теплое податливое тельце, поаккуратнее укутав его. Оно затихло возле его бока. Потом он почувствовал, как маленькая горячая ладошка скользнула в его руку. Сердце заходило от нежности, тело застыло, затекло, нужно было пошевелиться, сменить позу, а он боялся нарушить хрупкую связь. Сидел и думал: “Как же так? Парню уже девять лет, а до меня только сейчас дошло”. Властно охватило чувство, что он — отец. И вот это хрупкое существо не требует, робко просит защиты, покровительства. Нет роднее и ближе для него вот этого сипящего маленького человечка. От нахлынувших чувств Борисов чуть крепче сжал ручонку сына, чуть плотнее прижал его к себе, и тот радостно-доверчиво поерзал, вжимаясь в отца. “Где же я был, чем жил? Вот мое счастье, моя цель, моя жизнь”, — прозревал он, обнимая сына. Жена несколько раз выглядывала из кухни. Если вначале в ее позе чувствовалось еле сдерживаемое раздражение, готовность к крику, скандалу, то некоторое время спустя она выглядела явно растерянной. Потом она просто выходила и стояла рядом с ними. Лицо ее разгладилась. Жесткие волевые складки потептели и медленно покидали лицо.

Уложив сына спать, сели на кухне попить чайку. Когда-то вечернее чаепитие для их небольшой семьи было ритуальным. Всегда Виктор спешил домой. Знал, обязательно его ждут на чаек с чем-то вкусненьким. Сынишку Лена уложит спать, а вот его обязательно дождется, как бы он ни припозднился.

— Борисов, что с тобой?

— А что со мной? — посмотрел на жену Виктор.

— Я таким тебя никогда не видела, — грустно улыбнулась, — ошибаюсь, видела и хорошо помню.

Она быстро вышла, вернулась с небольшой фотографией:

— Вот, посмотри, это ты. Такого любила и такого люблю.

С фотографии чуть смущенно, застенчиво, с доброй улыбкой смотрел Борисов.

— Да, — протянул он, — вроде я, а в общем, мне не нравится.

Прибежал он тогда из самоволки немного “вмазанный”, расслабился, расплылся, жесткость всегда собранного сухошавого лица ушла.

— Полудурок получился, — смущенно проговорил Борисов.

— Ничего ты не понимаешь. Ну, ладно, давай укладываться, ты выспишься, а мне на работу.

Спал Борисов беспокойно. Снились какие-то кошмары. Ни одного не запомнил, но знал точно: снилось что-то неприятное.

Лена ушла на работу, и сын немедленно перебрался к отцу. Хотелось еще подремать, но мальчишка егзил, постоянно приставал со всевозможными вопросами.

— Эх, горе ты мое! Ты дашь мне поспать? — бурчал сердито Виктор, стараясь напугать строгим голосом пацаненка, но тот прекрасно ориентировался в интонациях голоса родителя и только залиvisto хохотал. Пробаловались они до обеда.

Лена на минутку забежала домой, принесла в баночках: на первое — суп перловый с рыбой, на второе — фрикадельки с капустой, — остатки детского обеда. Готовить для семьи особенно было не из чего, в гарнизонном магазине, кроме рыбных консервов, ничего не было. Чтобы отовариться по-настоящему, нужно было ехать во Владивосток. Но добираться туда непросто, и особенно не наездишься.

После обеда Борисов сходил к Мишке. Тот долго не открывал. Потом послышалось шарканье ног, ворчание:

— “Кого там черт опять принес?”

— Открывай, чучело, я покажу тебе черта.

— А, это ты, командир, заходи.

Рожа у штурмана небритая, вкривь опухшая, с жесткой серой щетиной. Борисов всегда удивлялся. За сутки после пьянки его штурман зарастал так, как другие за неделю.

— Нажрался все-таки!

— Да не, нормально. Спал плохо, под утро уснул. С утра уже два раза приходили опохмелять, еле выгнал.

— Не вздумай! И так на наш экипаж косо смотрят.

— Ну, тут не только моя вина, — подковырнул Борисова зловредный штурман.

— Молчи, оглоед! Дверь никому не открывай. К шести часам чтобы, как штык, был.

— Да ладно, командир, ты же меня знаешь.

— Как же ты доктора пройдешь с такой рожей?

— Как обычно! Иди, отдыхай!

Пожав плечами, Виктор, не спеша, пошел домой. Штурман у него, конечно, был личностью неординарной: тощий, как ржавая камса, которой кормят иногда матросов. Он, тем не менее, обладал железным здоровьем. Организм его восстанавливался от самой разгульной пьянки за несколько часов. Борисов был уверен, что к полетам Мишкина стремительная фигура опередит его по всем параметрам и в столовой, и у доктора. Пользуясь заслуженным уважением официанток, тот обязательно столовался за двоих. На подначки типа “Все уходит на удобрение, лучше тебя грохнуть!” только посмеивался:

— Идеальная машина для уничтожения радостей жизни.

Это уж точно. Леонов прожигал жизнь с редкостным упорством.



— Одним днем живешь, Мишка! — иногда выговаривал ему Виктор.

— По-другому не умею и не хочу!

Борисов задумывался: "Зачем по-другому жить? Действительно, один раз живем, кто тебе спасибо скажет? После смерти друзья напьются до бесчувствия, могут и подпечь с горя, жена поплачет да забудет. Сына жалко: мал еще. Ты что заголосил? — удивился он. — На тебя не похоже".

Настроение не ахти. Но это бывало частенько с ним. С началом предполетной суматохи все проходило, и сейчас Виктор особенно не вдавался в причину плохого настроения.

Лена с работы задержалась. Поэтому, наказав сынишке не бузить, поцеловал его в макушку, взял из его рук планшет и подумал: "И правда, нет настроения. Заболеть, что ли?" Но доктор на его унылый вид никакого внимания не обратил, спросил только о сроках комиссии.

— Да, вроде, выходит.

— Посмотри, и поедешь в госпиталь.

— Ладно, посмотрю.

Мишка, конечно, мчался со стороны столовой.

— Ну, все в порядке, командир, — зачастил он, останавливаясь возле Борисова.

— Ботинки береги, не тормози так резко, — засмеялся проходящий мимо какой-то старлей.

Мишке ботинок хватало максимум на два месяца, любых. Что с ними происходило, понять никто не мог. Очередную пару подолгу рассматривали: подошва и каблук стирались во всех направлениях. Кто-то решил:

— Да он их на наждаке носит.

— Язык себе подправь на нем. Может, заплетаться меньше будет, — отпарировал Леонов, намекая остряку на некоторую шепелявость.

— Слушай, командир, давай после полетов отдохнем. Нас в гости пригласили. Вылет — в начале плановой, к 24.00 будем дома. Полеты до трех. Твоя ничего не учухает. Придешь, спать будет. Ну как, идет?

— Нет, не идет, — не раздумывая ответил Борисов, — и давай на эту тему больше не говорить.

— Нет так нет, — легко согласился Мишка, — Генку возьму.

На предполетных указаниях метеоролог, как обычно, выдал свою любимую фразу: "Погода обуславливается..." Летчики дружно хохотнули.

— Отставить, — одернул их командир, — минус двадцать с ветром, нечего зубы скалить. Не дай бог кто нос приморозит или щеки, шкуру слеру!

В комнате парашютно-десантной службы, переодеваясь в новенький оранжевый морской спасательный костюм, Борисов обратил внимание, что Мишка натягивает старый, облезлый, потертый на сгибах.

— А почему ты новый не получил?

— Скоро еще партия придет, — ответил за Мишку начальник парашютно-десантной службы полка, старший лейтенант Буров, — всем не хватило. Комполка приказал в первую очередь командиров экипажей снабдить, а штурманам и бортачам — что осталось.

— Ну а если что случится? Посмотри, он совсем дырявый, глянь на сапоги, одни дырки, — наседа на Бурова Борисов.

— Да пусть другой возьмет. Твой сосед в наряде, а они одинакового роста.

— Кончай базар! — отмахнулся Мишка. — Командир, давай на вылет, автобус уже ждет.

— Проверь хоть причиндалы! — прикрикнул на Мишку Буров.

— Отстань! Чего прицепились? Все какие-то бдительные стали не в меру, — пробурчал Леонов, выходя из комнаты.

— Гоняй его покрепче, — напутствовал Виктора старлей, — хлебнешь с этим разгильдяем горя.

Да, пожалуй, за Мишку надо браться, совсем от рук отбилась, — думал Борисов, шагая к автобусу. — Женить срочно надо, только навряд ли это получится.

Тот уже два раза был женат официально, а из каждого отпуска привозил новую подругу, пополняя определенный контингент представительниц древнейшей профессии.

Однажды замполит вызвал штурмана:

— Ты где этих... находишь? У нас своих хватает. Чтоб всех, кого сюда притащил, отправил назад.

Леонов растерянно смотрел на того и развел руками:

— Не получится, кто ж их отдаст, они все в деле.

— В каком деле? — закричал подполковник. — Ты что из себя дурака корчишь! Семьи рушатся, жены на запад уезжают. Какая тут боеготовность? Еще не хватало, заразу какую-нибудь разнесут!

Мишка предпочитал с командованием не спорить. Легко соглашался с самыми абсурдными приказами:

— Все сделаю! Разрешите идти?

— Это чего он взъерепенился? Отлуп получил, наверное. Вроде к Оле похаживал, даже устроил ее на телеграф, — делился Мишка в разговоре с Борисовым.

— Меня только не ввязывай, — попросил Виктор.

— А что не ввязывать, он вызовет тебя.

Так и вышло. Но, в отличие от своего штурмана, командир криков не терпел и крепко поругался с замполитом, на прощание сказав:

— Когда ты с ними спал, тебя это устраивало. Да не только ты один. Весь штаб там побывал. Так теперь сами и разбирайтесь, а штурмана не трогайте. Нам летать, а не штаны протирать возле штабных...

Борисов злился на Мишку. Он и так был в немилости у командования за строптивость, а теперь вообще ловить нечего. Рассчитывал — поставят командиром звена. Черта с два! Замполит ходу не даст.

— Вот обормот. Навязался на мою голову... Сам ведь выбрал его. Из двух экипажей поперли Мишку.

— Давай, воспитывай, — напутствовал последний командир экипажа, с которым Леонов всего месяц отлетал, — мне не под силу, не справляюсь, пенсия на носу, я с ним не долетаю до нее.

"Все, в общем-то, просто, все мы мужики! — мысленно рассуждал Виктор. — Вот согласись я сегодня пойти после полетов в гости, а дело это затягивает. Мишке что? Он холостой, а в гарнизоне все тайное через неделю становится явным. Скандалы и, как говорится, оргвыводы".

Полетное задание было несложным: полет по маршруту на целеуказание и воздушную разведку акватории залива. Ночь звездная, но без луны. Далеко видны россыпи огней поселков и деревень. Владивосток оставался где-то справа. Ночь была так темна, что огромный город, залитый мириадами огней, не давал зарева, каждый огонек жил отдельно, как будто в несметном количестве светлячки облепили ста-

рый засохший дуб. Вот центральная площадь, от нее отходят проспекты, улицы, переулки. Все меньше светлячков, потом отдельные домики, один-два светлячка. В сторону Находки виднелся небольшой отсвет над сопками. Море неопишимо черно. Оно казалось продолжением звездного небосклона, постепенно проваливающегося в жуткую непроницаемую бездну. Огни редких суденышек только подчеркивали необъятность, неосязаемость темноты.

Пилотировать в такие ночи было сложно: звезды вверху — настоящие, звезды внизу — их отражение, отблеск. Полет только по приборам. Ни на секунду не оторвать, не перевести взгляд, не задержаться на чем-то конкретном. Только мельком на другие приборы, иногда на панораму местности, над которой пролетали, для контроля точности прохода по маршруту.

Но Борисову в общем особенно отвлекаться и не требовалось. Десять лет молотил он по этим маршрутам, в этом районе полетов. С закрытыми глазами безошибочно смог бы пролететь, не отклоняясь ни на сотню метров, точно по курсу. Убери все приборы и штурмана заодно, оставь только секундомер, контроль времени для разворотов на контрольных пунктах, углы сноса, куда и как, и в какое время дует ветер, откуда потянет туман или натянет облачность, — вьелось в плоть и кровь. Контроль работы двигателей — по слуху, малейший сбой чувствовал нутром. За годы летной работы их почти не было, кроме отказа радиосвязи или локатора.

“Дай бог и дальше так”, — подумал Борисов, даже попытался сплюнуть, но, покосившись на штурмана, дремавшего, уткнувшись в тубус локатора, не решился. После прохода третьего этапа развернулись и пошли курсом строго в море.

— Давай, просыпайся, — прикрикнул на штурмана Борисов, — пора работать.

Тот, что-то недовольно бурча, заворочался. Задание отработанное. Сейчас Мишка осмотрит локатором все видимое пространство моря и все, что есть в радиусе его захвата, передаст на береговой ракетный комплекс или на корабельный.

— По позывным вроде с берегом работаем, — сказал Мишка. — Сухопутные ракетчики попроще.

— Как моя работа? — спросил землю.

Ответили:

— На четыре балла.

Все, как обычно. Еще пару раз отметить и можно отключаться.

От корабельщиков так легко не отделаешься. Начнут ставить помехи, мешать. Мишка тогда потеет, крутя ручки, нажимая тумблера. На все запросы идет ответ:

— Ваша работа “плохо”.

И редко неожиданно:

— Спасибо за работу.

Ничего не поделаешь. Не раз и не два им приходится встречаться с кораблями вероятного противника, да и не только с кораблями. Там не похалтуришь.

Глянул вниз. Отражение звезд чуть смазывалось, серебрилось. Предположил: “Ветерок, значит, есть”. Чуть более красноватым цветом выделялся огонек одинокого судна. Борисов невольно пожегся, представив, как неуютно тем, кто на этом кораблике. Хотя это сверху корабль, как игрушечный. А рядом встанешь, голову поднимешь — где там

палуба? — шапка падает. Даже приличный шторм для такого корабля — буря в стакане воды. Ну а если небольшой тральщик, на котором пришлось Виктору попасть в шторм, даже не в шторм, а так, в отголоски где-то за сотни миль бушующего настоящего штормяги, можно представить, что там творится, если тут Борисов натерпелся страху на всю жизнь.

Он стоял в рубке рядом с каплеем, командиром тральщика, вылавливающего торпеды после вертолетных стрельб, которыми Борисов руководил по радию. Простоял он до момента швартовки к стенке причала, крепко вцепившись в переборку, потом с трудом оторвался от нее. Пальцы свело судорогой. На все уговоры спуститься в кубрик молча мотал головой. Может, он бы и ушел, но не мог ни разжать пальцы, ни сдвинуть ноги. Кораблик взлетал на спину покатога вала, яростно завывая двигателями. Сердце замирало перед отвесно проваливающейся поверхностью воды. Ему казалось: сейчас они начнут беспорядочно кувыркаться в бездонную глубину. Но страшная пропасть на глазах выравнивалась, тральщик как будто скользил по снежному склону, горизонт начинал постепенно уходить вверх, кругом вырастала серо-стальная с прозеленью стена. Теперь ему казалось, что они воткнутся тупым носом в эту железобетонную мерцающую глыбу, которая вертикально уходила вверх на огромную высоту, и она поглотит их хрупкие суденышко. Но нет! Через некоторое время их опять выносило на спину очередного вала, потом опять в пропасть. Каплей, насмешливо посматривая на Борисова, кивнул вверх:

— Там-то пострашнее?

Уже на берегу Виктор сказал:

— Ни за какие деньги не согласился бы плавать на этой посудине!

— Не плавать, а ходить, это во-первых, а во-вторых, ты все равно молодец, такое волнение даже бывалые моряки не всегда выдерживают. Самое тошнотное — это тягуны, они не опасны, но человека укачивают почти любого.

После этого случая Борисов всеми правдами и неправдами откручивался от подобных заданий, особенно если грозило выходить на маленьком суденышке далеко в море.

— Командир, поворотный! Ну вот, половину задания выполнили.

Шли они на удалении километров восемнадцати от береговой черты, почти параллельно ей. Стало немного поуютней. С правой стороны замигали огоньки прибрежных поселков. Работали обычно парой. За ними, на удалении двухсотпятидесяти метров шел экипаж командира отряда Фокина, контролирующего точность проводки по маршруту группы штурманом экипажа Борисова. Сроки вышли. Шел обычный контроль на допуск к самостоятельным полетам по маршруту.

Нахлынувшая тревога заставила Борисова подобраться. Глаза настороженно забегали по приборам. Вроде все нормально, никаких причин для беспокойства нет. “Уже второй день себя беспокойно чувствую”, — подытожил он, зная неписаную заповедь летчика: что-то тревожит, есть предчувствие — заяви во весь голос, не скрывай. Он и хотел так сегодня поступить, но боялся прослыть перестраховщиком. Перевел глаза на управление системой пожаротушения. Табло “пожар” раскаленным куском железа заагло на центральном пульте, на щитке засветился сигнал “по-

жар в двигателе". Автоматически сработала первая очередь. Высветились два табло: "кран открыт" и "сработали баллоны первой очереди". В наушниках — голос ведомого: "4816-й! Из отсека двигателя языки пламени!"

— Да, вижу!

От автоматической очереди пожар не прекратился. Нажал на кнопку срабатывания баллонов ручной очереди. Контролируя по приборам, видел, пожар не прекращается. Да и что толку, если даже он будет ликвидирован — двигателя не запустить.

Перед тем как перекрыть топливо, приказал штурману приготовиться к прыжку: "Поддуй костюм, закрой клапана, фалу парашюта проверь". Доложил в эфир: "Пожар не ликвидирован, прыгаем! "В любой момент могли перегореть тяги управления, и тогда — хаотичное падение. Попробуй прыгни. Закрыл клапана костюма, отсоединил шлемофон, отсоединил костюм от системы отопления, оставил немного воздуха: главное — пролезть в блистер. Мишке легче, он в раздутом костюме казался чуть полноватым мужиком.

— Давай, ты первый, я за тобой.

Приготовился, привстал, сбросил сдвижную дверь. Ручку управления придерживал одним пальцем. Когда штурман исчез в проеме. Виктор рванулся в обжигающую холодом темноту. В последнее мгновение почувствовал рывки управления: все тяги перегорели.

Вывалился, а не выпрыгнул. И не очень удачно. За что-то зацепился. Потом резкий рывок, еще рывок, и он облегченно вздохнул. Прыгал он не первый раз, определил: парашют цел, стропы не переплелись. Теперь покричать штурмана. Тот откликнулся неожиданно рядом, немного выше: "Ну, правильно, я ведь тяжелее, успел обогнать".

— Смотри, командир, наш падает.

Да Виктор и сам увидел: странно замедленно, как иногда в кино, лоскут рваного пламени, переворачиваясь, отрывая от себя куски или раскаленного дюрала, или просто языки пламени, проваливался в темноту.

— Мишка! — крикнул штурману. — Не глазами, проверь лодку, надуй костюм, надень перчатки.

— Лодка оторвалась, перчатки тоже улетели.

— Ну, обормот! — ругался Борисов. — Достань из кармана сигнальный патрон, приготовься сбрасывать парашют, только не сбрось раньше времени.

— Да все нормально, командир, — донесся уже прилично сверху его голос.

— На меня не сядь! — опять крикнул Виктор. — Ты кричи, чтобы я ориентировался. Патрон сигнальный нашел? Если нашел, давай, заправляй, чтобы Фокин видел, где приземлимся.

— Не приземлимся, а приводнимся, не путай, командир!

Виктор проверил лодку, подтянул ее на фале: "Нормально надутая. Может, и не понадобится, если костюм в порядке. Несколько часов можно находиться в ледяной воде, а сейчас еще не зима, начало декабря".

— Шутишь, командир, — сам себе ответил Борисов, — у штурмана костюм, наверняка, дырявый, да и ты за что-то зацепился, неизвестно, что с костюмом, хотя воздух вроде не уходит. Опять крикнул Мишке:

— Воротник поддуй и патрон зажигай!

Что-то еще хотел сказать, но не успел. Как в лифте при неожиданной остановке ноги подогнулись, и он мягко за-

валился лицом в воду. "Парашют отстегнуть", — рука лихо радочно зашарила по груди, толстые перчатки мешали на жать защелки. Свежий ветерок поддувал купол, таща лицом вниз по воде Борисова: "Захлебнусь, как пить дать, захлебнусь". Он прекратил попытки отстегнуть подвесную. Отчаянно барахтаясь, попытался повернуться на спину глотнул воздуха, но перевернуться не смог. Ухватив правую перчатку зубами, стащил ее. Рука попала, как в кипяток. Сжал защелки, рывком перевернулся на спину, перевел дух, подтянул лодку, потрогал: "Цела, надута, жить можно. Теперь, где штурманец?"

Тревога, даже страх, терзавший его последние дни, бесследно исчезли. Скомандовал сам себе: "Срочно перчатку натянуть, балла два — волнение".

Ветерок сушил руку. Пока возился с лодкой, обжигающего холода не замечал, а сейчас заломило пальцы. Помогая зубами, с трудом натянул перчатку. Огорчился: "А как же Мишка? Потерял и лодку, и перчатки, патрон сигнальный так и не зажег, а может, в старых "МСК" их просто нет?"

"Одновременно крича, нашарил в нагрудном кармане два продолговатых цилиндра, с трудом вытащил один, прислушался. Мешал рокот снизившегося вертолета. Где-то вдалеке мелькал свет его фары. "Неужели его так далеко отнесло? — подумал он, наконец, справившись с упрямой молнией. — Ну о чем они, конструктора, думали? Разве зацепишься в таких рукавицах за малюсенькую дужку замка?" Пришлось снимать левую перчатку. Рукавицу держал в зубах, поэтому кричать не мог. Зато какой-то писк успел услышать не особенно далеко. "Мишке совсем плохо!" — в отчаянии дернул он за шнурок. Патрон затрещал, забрызгал слепящим огнем. Свободной рукой Борисов подгрелбал в сторону, где, по его предположению, находился штурман.

Лицо забрызгивала ледяная крошка. Горько-соленая, она забивала рот и нос, ледяной коркой оседала на щеках. Борисов пытался сбить ее рукавом. Не получалось. Лицо обмерзло и замерзло. Жгло щеки, лоб. Нос он уже не чувствовал: "Жив буду, новый придется нос заказывать!" Ощутил, что начинает паниковать. Мишки нигде не было, ведомый куда-то пропал. "Топливо, может, на пределе", — мелькнула мысль, и сразу же над ним, ослепив поисковой фарой, проревела родная "кашка". Потом еще заход, и на третий они должны сбросить лодку. Если нашли штурмана, сбросят рядом с ним.

Так и есть. Вертолет прошелся метрах в пятидесяти от Борисова. Он увидел ракету. "Значит, Мишка там", — обрадовался командир. Как выбросили лодку — не заметил. Бросил ненужный патрон и, лежа на спине, уже двумя руками погреб в ту сторону, несколько раз пытался кричать. Горько-соленое крошево на полувздохе сбивало дыхание. "А вот лодку они сбросили зря. Если штурман без сознания, ее отнесет ветром, не догонишь, парусность у нее большая", — переживал он. Прикрыв перчаткой рот, пробовал кричать. Звуки его голоса, казалось, дальше его же ушей не улетают. Совсем выбившись из сил, затих, и тут совсем рядом услышал крики.

— Мишка! Жив, значит! — уже не обращая внимания на морозный ветер, заорал, — Штурман, ты где?

Кажется рядом с ним раздался дикий вой:

— Командир, помоги, руки!

— Да где ты, черт? — ругнулся Борисов.

— Лодку держу! — провыл тот.

Виктор обрадовался, значит, поймал Мишка большую спасательную лодку, сброшенную с вертолета, это уже легче.

— Крикни еще!

Молчит Мишка.

— Ты где?

Опять молчит. Темнота еще чертова, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Хоть бы Фокин помог, подсветил немного. Штурман был где-то рядом, наверное, потерял сознание. Вдруг почувствовал, что кто-то дергает лодку. Виктор подтянулся к ней, на ощупь определил, что за нее держится Мишка.

— Как же так? Полчаса искал штурмана, а тот, значит, держал его лодку, а не сброшенную с вертолета? Нашелся, и то неплохо, — ощупал молча Леонова, — плохо, что воздуха в костюме штурмана почти не осталось”.

Все его тело было погружено в воду. Значит, в костюме и сапогах вода. Это очень скверно. Попробовал затолкнуть его на лодку. Нечего и думать. Та крутилась, как веретено, уходя из-под рук. Попробовать самому залезть, потом втащить штурмана? Тот как раз пришел в себя.

— Командир, помоги! Ломит все, сил нет!

— Терпи, Мишка, терпи! Попробуй обе руки перебросить в лодку.

Держа лодку за фал, Борисов осторожно подталкивал в нее штурмана. Тот, конвульсивно дергаясь, постепенно как бы наползал на нее. В надутом костюме не получилось бы. И когда казалось, что еще мгновение и Мишка будет в лодке, его тело обмякло.

— Сейчас сползет”, — в ужасе подумал Виктор. Собрав все силы, схватил пальцами за штанину штурмана, рванул его вверх в лодку. Почувствовав, как ноги того зависли, переваливаясь через резиновый борт, отцепился. Застывшие пальцы не выдержали. Лодка сразу же исчезла в темноте: “Вот черт, этого только не хватало!” — выругался он. Соединяющую фалу он перерезал, когда она путалась, мешая заталкивать штурмана в лодку. За себя Борисов не переживал. Костюм хорошо держал тепло. Немного воды просачивалось в районе манжет, на шее и руках, но она сразу же согревалась телом.

— Но что с Мишкой? Он ведь совершенно беспомощный. Остался еще сигнальный патрон, нужно поджечь. Вертолет выйдет на них, и Мишка, может, придет в себя, увидит, куда грести”, — горячился он, покачиваясь вверх лицом на волнах.

Отвернув лицо, дернул за шнурок, с трудом зацепившись за него перчаткой. Руки успели приморозиться, одеревенеть. Вдалеке замелькало пятно прожектора. Заметили. Вертолет медленно приближался. Яркий луч света столбом уходил почти вертикально вниз — из ничего в никуда. “Интересно смотрится”, — отметил Борисов. Так примерно он представлял один из вариантов посещения далекой неведомой планеты: космическая разведывательная шлюпка плывет над поверхностью планеты, ее луч шарит по развалинам древнего города, выискивая признаки неземной жизни.

В данном случае ищут его, спасают их жизни. Вертолет сделал два небольших круга. Потом, выпустив ракету (Борисову показалось, что в него), пошел на зависание.

— Он что, с ума сошел! А и правда, можно попробовать, есть лебедка. Пилотировать ночью в таком положении

сложно, но сбросив маркировочный буй, можно ориентировать по нему. Кажется, Фокин это и сделал в предыдущем заходе”. На заходящем вертолете видны были ярко-оранжевые блики.

— А как же я спасательный трос поймаю? — машина зависла почти над Борисовым. — Хоть бы повыше зависли, — ругнулся он.

Поток воздуха от винтов поднял тучи водяной пыли. Раскинул руки, стараясь не прозевать момент касания троса. “Лицо, кажется, приморозил”, — одной рукой побил себя по щекам, потер нос — ничего не почувствовал.

Прошла, кажется, целая вечность, пока он ощутил какой-то толчок в руку. Нелепо взмахнув другой, он успел прижать возле шеи. От мысли, что удастся обмотать его вокруг себя и застегнуть карабин, оставаясь в рукавицах, пришлось сразу отказать. Стянув их, попробовал засунуть в карманы. Не получилось. Бросил — не до них, главное — время. В надутом костюме обмотать себя не удалось. Открыл клапана для стравливания воздуха. Собрал все силы. От страшной ломотной боли в руках заходило сердце, а в голове билась одна мысль: спрятать руки, бросить этот дурацкий трос, избавиться любыми судьбами от заполнившей все тело боли. Немеющими руками застегнул карабин. Дернуть, просигнализировать на подъем уже не мог: пальцы не слушались. Поднял руки вверх, несколько раз взмахнул ими. Боль стала уходить: “Замерзают руки”, — догадался Борисов.

Трос натянулся, больно врезался под мышками. Пробовал засунуть руки в карманы для перчаток. Не достал. Стучал ими друг об друга, уже совершенно не чувствуя боли. Раскачиваясь и крутясь на тросе, пытался в неровном свете сигнального бую найти лодку со штурманом. Несколько раз успевал заметить какое-то пятно. Но, беспрестанно крутясь под вертолетом, не успевал даже определить направление: “Ну, это не самое главное, был бы жив, найдем. Медленно, очень медленно поднимают”, — торопил он молча экипаж, хотя, конечно, прекрасно понимал, что быстрее невозможно. Сам летал на спасателе. Еще повезло, что такой вертолет запланировали. На боевых лебедок нет. Наконец, он почувствовал, как его несколько раз чувствительно стукнуло о корпус вертолета. Потом чьи-то руки втянули его за шиворот внутрь воняющего керосином фюзеляжа. “Живой, — подумал Борисов, — нюх не потерял”.

— Где Мишка? — крикнул он освобожденному его от троса штурману экипажа капитану Ковалеву.

Но это ему хотелось крикнуть. Губы не слушались, даже пискнуть не смог. Ковалев сам наклонился к нему:

— Мы его видим. Я сейчас цепляю себя, а ты будешь управлять лебедкой.

Борисов молча показал ему на свои руки. В инфракрасном свете они выглядели белоскрюченными, мертвыми.

Ковалев схватился их растирать. Виктор остановил его, показал: “Давай вниз!” Времени не было, да и неизвестно, как они себя поведут, когда начнут отогреваться. Олег быстро обмотался тросом, завязал его, оставил конец метра три, посмотрел на Борисова:

— Не вывались сам.

Затем натянул на проем открытого блистера страховочные ленты, с трудом пролез между ними, повис под лебедкой, подняв голову вверх, кивнул:

— Пошел!

Зажав между коленями пульт управления, Виктор нажал на кнопку "Спуск". Подалась кнопка или нет, определить он не мог, видел только, как растопыренная фигура Олега исчезла под вертолетом. Иногда палец соскальзывал с кнопки, и Фокин кричал:

— Давай, Витя, жми!

Уже пролезая через ленты, Ковалев присоединил Борисова к переговорной сети. Пульт самолетного переговорного устройства крепился рядом с дверью.

— Все, тормози! Нашли, лежит в лодке, не двигается.

"Начинает его обвязывать, руки тоже приморозит, — подумал Виктор, — хотя не должен".

— Давай, тащи, а мы потихоньку пойдем в разгон, — услышал он голос Фокина.

Скрюченный палец постоянно соскальзывал с кнопки "Подъем".

"И что же ее побольше не сделали?" — посетовал он сам себе.

— Жми, Витя, жми, — постоянно подгонял его командир.

Голова Ковалева медленно появлялась в проеме грузового блистера. Завис под лебедкой. Мишка безжизненно висел возле его ног.

— Так. Теперь отсоедини страховочные ленты, — командовал Фокин.

Виктор жестом показал Олегу, что помочь не сможет. Тот, сбросив перчатки внутрь вертолета, отстегнул обе ленты.

Как удалось затащить Мишку в вертолет, Борисов плохо помнил. Силы покинули его. Все остальное он воспринимал, как сквозь дрему. Помнил, что пытался помогать Ковалеву растирать своего штурмана. Ковалев отмахивался:

— Занимайся собой!

А что заниматься, ничего не болит!

Но все-таки тер бесчувственными культиями лицо, постукивал их друг о друга, наблюдая, как Олег пытается привести в чувство Мишку.

Он разрезал костюм, вылил из него воду. Плохо, что в вертолете холодно: грузовой отсек не обогревался. Правда, ему удалось немного поднять температуру, направив шланги обогрева спасательных костюмов — своего и командира — внутрь кабины. Третий шланг гнал теплый воздух обогрева штурмана-оператора.

Так и не приведя Мишку в сознание, Ковалев расстегнул свой костюм, снял нижнее шерстяное белье, порвал его, обмотал руки и лицо Леонова, занялся Борисовым, но тот пытался отогнать его.

— Молчи! Береги силы. Сейчас потерпеть придется, — взяв в руки по шерстяному куску, стал осторожно растирать лицо и руки Виктора, посматривая в сторону Леонова.

"Не летать Мишке! — подумал Борисов. — Мне бы не потерять сознание. Если тут отключусь, не страшно. Ребята не продадут. Ну а если при посторонних, то все — придется на земле работу искать. Всего-то два года осталось отлетать, а так надо будет года четыре мурыжить, если не большому.

— Владивосток! — крикнул в ухо Ковалев. — Терпи!

Звук работающего двигателя изменился. "Интересно, куда нас посадят?" — молча задал он себе вопрос. Может, от меняющегося давления при потере высоты или от чего-

то другого кисти начало крутить ломовой тягучей болью. "Значит, руки целы, — с надеждой подумал Борисов, — лишь вот что-то молчит". И сразу, как по команде, все усиливаясь, начало шипать, покалывать щеки, нос, даже глаза.

Уже в санитарной машине почувствовал, что от боли начнет кричать или потеряет сознание. Сопровождающего врача показал: "Дай выпить". Тот растерянно оглянувшись потом махнул рукой, поднес какую-то посудину к губам Борисова. Виктор, уже ничего не соображая от боли, сделал несколько глубоких судорожных глотков. По сухости во рту определил: чистый спиртышка.

Боль не ушла, она как бы отодвинулась. В крайнем случае, теперь Борисов был уверен, что сознание не потеряет. Он даже попытался спросить суетливо возящихся вокруг лежащего на носилках Мишки:

— Как дела? Что с ним?

И ничего не получилось. Губы не слушались, язык распух, заполнил весь рот и не поворачивался. Перед глазами все плыло, сливаясь в одно серо-белое пятно. Хотелось спать. Но еще помнил, как его уложили на носилки, чувствовал, как его раздевали, тихо переругиваясь, то ли санитары, то ли санитарки. Не могли разобраться с костюмом. По ласково-осторожным прикосновениям рук определил: санитарки. Потом провалился в звенящую, пахнущую йодом горькой солью, темноту. В голове мелькнуло: "Это же запах и вкус моря".

Очнувшись он от боли. В первое мгновение Борисов даже подумал, что он дома, вчера назююкался, а теперь с похмелюги страдает. С трудом открыл глаза, увидел высокий белый потолок. У него в квартире потолки тоже белые, но не такие высокие, да и запах совсем другой. Виктор попытался повернуть голову.

— Лежите, молодой человек! — над ним склонилось молодое миловидное личико.

По покрою халата определил: доктор. Попробовал разлепить губы. Больно, не получилось. Просипел:

— Где штурман? Нас же вместе положили. Где он?

— С ним посерьезнее. Сильное переохлаждение, не жить будет.

— А я как?

Улыбнулась.

— С вами все в порядке. Голова, наверное, болит?

— Да, — чуть кивнул Борисов.

— Голову мы сейчас поправим, а вот с остальным — большие проблемы... Придется вам отпустить усы и бороду.

— Мне борода не идет, — просипел Виктор.

— Ну, это вы зря. Мне кажется, она будет вам к лицу.

— Летать-то я буду?

— Конечно! Внутренние органы в норме. Немного приморозили лицо и руки. Сейчас вас немного подлечат, отдохайте.

Ему сделали два укола, покормили, вернее, попили, и он почти сразу же уснул. Уже засыпая, подумал: "Немного очухаюсь, схожу к Мишке".

Но прошло два дня, и только после второй перевязки, которая прошла менее болезненно, чем первая, немного притерпевшись к боли, Борисов отправился к штурману. Но далеко ему уйти не удалось. Да и кто бы его пропустил в таком виде: полностью забинтованная голова. Видны были лишь глаза, рот, уши. Верхнюю одежду он получил у старлея, готовящегося к выписке. Каждую ночь он бегал к мо-

лодой жене. Он помог Виктору натянуть трико, насунул ему ботинки.

Погода была ветреная, морозная. Несмотря на толстый слой бинтов и мази, руки сразу же заломило, закрутило все тело. Кости, мышцы, кажется, затрещали от боли. В глазах поплыло, зазвенело в ушах. Подхватив покачнувшегося Борисова, старлей проговорил:

— Куда ты пойдешь такой? Полежи, окрепни немного.

— Может, ты сходишь? — попросил Виктор. — Узнай, как у него дела.

— Да, сбегаю, а ты давай лежи.

Тот, быстро переодевшись, уже в дверях крикнул:

— Ты особенно не жди, я к земляку потом зайду.

— Давай, давай, — усмехнулся Виктор, — знаем мы это-го земляка.

Ни для больных, ни для лечащего персонала не было секретом, куда спешил каждый вечер старлей. Он почему-то стеснялся. Мог даже сказать, что бегают к... Вроде несолидно, что спешил к молодой жене, подумают, что ревнует. А что тут зазорного? Дело молодое. Не успеет выписаться, завертит армейская служба. Может, к тому времени его большой противолодочный корабль "Адмирал Сенявин", где он служил командиром боевой части, получит приказ на боевую службу: как минимум, на три месяца. Прощай, молодая жена.

— Пользуйся моментом и не стесняйся, — напутствовал зардевшегося молодого офицера Борисов.

Сам же, устроившись поудобнее, задумался. "Не обмануло меня предчувствие. Несколько дней что-то скребло на сердце. Как это объяснить? Кто подавал сигнал? Железо и есть железо, хотя, кто знает".

Вспомнил случай, происшедший с их экипажем несколько лет назад. Летал он тогда помощником командира экипажа. Уже вырубивая на взлетку, командир проговорил по внутренней связи:

— Знаешь, не могу. Что-то у нас не в порядке, наверное, на стоянку зарулим.

Удивленно посмотрев в сторону летчика, Борисов вдруг почувствовал страх, хотел посмеяться и сказать: "Не дури, командир!" — а тут сразу же согласился:

— Давай отбой!

Подрубивая к стоянке, вдруг почувствовали рывок. Вертолет встал на дыбы, потом завалился набок. Сноп искр брызнул из-под лопастей, зачертивших своими концами по железной рулежке. Этот случай долго не давал покоя летчикам: как мог человек почувствовать, что через несколько минут выскочит маленький болтик, именуемый среди летчиков "черным болтом", соединяющий тяги продольного управления.

"Ну а как должен был поступить я? Отказаться от вылета — другой попал бы в еще, может быть, худшую ситуацию. Все равно на земле определить дефект не удалось бы. Или трубка топливная была слаба, или... Нет, я не прав! Нужно было зарулить на стоянку и заставить техников гонять машину до посинения. Опять же: кто разрешит вырабатывать ресурс? Полчасика помолотили бы на земле, но опять — не тот режим. Значит, так и суждено было. А я должен быть готов к этому: заставить службу ПДСС сменить Мишке костюм, проверить все спасательные причиндалы. И если что-то случится со штурманом, моя вина полностью", — анализировал ситуацию Борисов.

"Наверное, все в этом мире связано: и кусок мертвого, бездушного железа, и кусок живого тела. На каком-то недостижимом уровне мы абсолютно одинаковы. А как же тогда понять связь его состояния с обрывом топливной трубки? Не все в этом мире объяснимо... Но этот сигнал, как предупреждающий укол иголки в палец. Больно — инстинкт — отдернул руку. А я вот почувствовал укол, а руку не отдернул. Интуиция — не инстинкт..."

Незаметно для себя Виктор задремал. Проснулся от осторожного покашливания. Открыл глаза, даже вскрикнул от удивления:

— Мишка! Живой, здоровый! Как же так, даже бинтов нет?

Лицо и руки сосисочно-жирно блестели. Штурман выглядел непривычно полным. Смотрелось это довольно комично. Не выдержав, Борисов засмеялся, застонал от боли. Мишка тоже улыбнулся, превратившись во что-то монголоидное:

— Ой, не могу, — застонал опять Виктор, — отвернись, не смейся, мне больно! Ты как сюда попал? Мне сказали, что у тебя плохо все, а выглядишь вроде ничего.

— Так-то вроде нормально, но сердце посадил. До тебя еле дошел. Забегал старлей твой... Сказал, как ты пытаешься найти меня.

— Да, немного ослаб. Два дня прошло. Думал, отлежался, а как вышел на мороз, закрутило руки и лицо.

— А у меня сердце трепыхается, как тряпочка... Двух шагов сделать не могу.

— Как же ты сюда добрал?

Мишка опять улыбнулся:

— Это двух своих шагов сделать не могу. А так, как вы ходите, сколько угодно. Ползание, а не ходьба.

— Знаешь, Мишка, это я виноват, что так получилось. Я ведь чувствовал.

— Брось, командир, могло быть много хуже. Самое главное — живы, и тебе огромное спасибо! — штурман наклонился, приобнял Борисова, чмокнул в район носа. — Поправляйся.

Встал, смахнув что-то с глаза, опять улыбнулся и, махнув рукой, исчез за дверью палаты.

Больше месяца пролежал в госпитале Виктор. Доктор, глядя на лицо, скрыла самое неприятное: стоял вопрос об ампутации пальцев правой руки. И все-таки пальцы ему сохранили. Выглядели они теперь уродливо, страшно боялись холода. Не терпело малейшего похолодания и лицо. Бороду Виктор отпустил шикарную. Вначале была жидковата, росла кустиками, потом оправилась. Нос немного уменьшился, местами почернел, но выглядел вполне прилично.

Мишка приморозил нос, и лицо, и руки, но все отошло, омолодилось. Доктора объясняют тем, что вовремя потерял сознание. Но комиссовали его подчистую по второй группе инвалидности.

Майор Борисов через два года комиссовался с должности заместителя командира эскадрильи.

## Виктория БЕЛЯЕВА

Коренная норильчанка. Публиковалась в местной прессе и альманахе "Полярное сияние" 1996 и 1997 годов.

### ВОЛОСЫ

Было такое чувство, будто кто-то нанес ей однажды тяжелую рану, заштопал любящей рукой и теперь снимает швы. Медленно-медленно тянется нить, боли нет, но есть странное чувство — чужого и чуждого — изнутри, не замечаемое раньше.

Она скулила, корчась под душем, разгребая со лба мокрые пряди. Волосы были тяжелые, лились с водой вместе, водорослями оплетали плечи, давили на грудь. Потом долго сидела на краешке ванны, отжимая космы — теперь безобразно-рыхлые, нитяные, тряпичные. Долго смотрела в зеркало, тупо и блаженно улыбаясь. И вдруг взяла ножницы и быстро-быстро: прядь слева, прядь справа, жаль, что трельяжа нет, но ничего, так тоже неплохо. Затылочек подравнила и челочку — аккуратная французская челка, таких не носят теперь, но она будет носить. Да, я буду носить. И брови еще подведу, и губы бантиком, и глаза нахальные — теперь нахальные будут, когда захочу. Скинула халат, освобожденная, прошлась по комнате, искоса, как на чужое, поглядывая в зеркало. Молодая, розовая — зачем ей халат? Зачем мне халат? И засмеялась, представив, как вылетела бы на улицу в стройных туфельках, ни в чем больше. Тоже мне, Маргарита. Но в зеркало снова посмотрела — долго и с удовольствием.

\*\*\*

Раздался звонок, и я долго не могла попасть в сырые махровые рукава, потому что думала, что это был он. Но это была она.

— Привет, — сказала мне толстая подруга. — Ты зачем так обкромсалась? В парикмахерскую не могла? Прическа — щенячьи уши.

— Не могла, — ответила я, играя концом пояса. — Мне и так нравится.

— Глупости, — убедительно говорит она.

Она кого хочешь может убедить, моя толстая подруга. У нее такие прически — не прически, а корабли! — она так умеет быть женщиной, эта девушка, моя толстая подруга.

— Я тебе принесла колбасы, — говорит она. — Ведь ты опять ничего не ела?

Мы идем с ней на кухню. Я сажусь на табуретку так, чтоб мои глупые маленькие ноги не доставали до пола. Толстая подруга любит меня.

Когда она приходит, она всегда несет мне что-нибудь, потому что у меня никогда ничего нет, даже сахара. Ей нравится, что я ничего не кушаю и скучаю и что у меня ножки розовые, как у младенчика, и ямочки на локтях — ручки

пухлые потому что. А у нее толстые, благородные, совсем безо всяких ямочек. Она вся такая благородная, а у самого горла — брошь.

— Это камейка, — говорит толстая подруга. — Ты знаешь, что такое камейка?

Я знаю, что такое толстая подруга, и поэтому мотаю головой: "Понятия не имею!" И вижу, как мотаются мои волосы, точнее, не вижу, видеть больше нечего, так, осеваю. Их если погладить, они мягкие-мягкие, а если снизу потрогать — наоборот. Я как-то раньше не замечала.

Но толстая подруга не хочет рассказывать о камейках. Она мне рассказывает о своем бывшем. Она так давно о нем рассказывает, что я уже начинаю думать, что он никогда сам собою не был, а так сразу и появился бывшим.

— Он опять с этой коровой, — толстая подруга тарашит глаза, потому что пытается откусить сразу очень большой кусок. — И эта корова раз в пятьдесят толще меня.

Тут уж глаза тарашу я, потому что, во-первых, это нравится толстой подруге, а во-вторых, если принять ее слова всерьез, выходит действительно страшно.

— Он дурак, — говорю я убежденно.

Она печально качает головой.

— Нет, деточка. В том то и дело, что нет.

Она говорит мне "деточка", и "голуба", и "душа моя" так наставительно, и поднимает палец. Мы почти ровесницы, но мне наплевать, пусть зовет меня "деточкой", если хочет.

— Эх, — говорит она, — ты никогда не научишься быть женщиной. Но я все равно принесла тебе журналы. Посмотришь потом, мне некогда.

Она уходит. Я смотрю на нее снизу и виляю хвостиком.

\*\*\*

Мяукнул звонок, и я снова торопливо побежала, захватывая по дороге, потому что ждала его. Но это снова она.

— Привет, — говорит мне она. — Классная стрижечка.

Я двигаю бровью, потом плечом, и делаю пригласительный жест в сторону кухни.

— Есть колбаса.

Она одобряет колбасу, мы идем и едим ее, по-спартански, запивая холодным чаем, потому что греть лень, да и вообще, какая разница? Моя умная подруга — аскет. Отвернувшись от всего мира, она в полном одиночестве ест холодные голубцы, ножом и вилкой. Я сама видела ее с вилкой в левой руке.

Мы пьем чай и едим колбасу, и умница рассказывает мне, как тяжело иметь детей. Она никогда не имела детей, но я все равно ей верю, потому что нельзя же не верить умной подруге.

— Воспитание детей — тяжкая ответственность, и ее нельзя доверять всем, — говорит она, жуя бутерброд. — Я вообще думаю, что надо бы запретить этим плебеям плодить себе подобных. Детей... да, подлей, пожалуйста... детей должны воспитывать только избранные, только элита. Ты меня понимаешь?

Она смотрит мне в глаза. Я смотрю ей в глаза. О, разумеется. Мы сидим и улыбаемся друг другу — молодые, стриженные, понимающие. Мы говорим о философских концепциях, о мировых религиях, о психоанализе и тайных снах.

— Ты понимаешь меня?

— О, разумеется.

— Все дураки, — говорю я ей на прощанье.  
Она соглашается со мной. Мы прощаемся с ней на равных — два умных существа. Я делаю оптимистический жест и достаю из холодильника голубцы.

\*\*\*

Звонок был хилый и слабый, и я подумала, что обиженный он вполне мог бы так позвонить. Но это снова была она.

— Ну? — сказала я, и луч откуда-то сзади сфокусировался на моей голове.

— У тебя нимб, — прошептала она.

Это пришла слабая.

— Зачем ты пришла?

Слабая опускает глаза и тискает пальцы.

— Колбасы? — говорю я величественно.

— Нет-нет... Я на минуточку... Я к тебе...

Царственно поджав босую ногу и скрестив руки на груди, я прислоняюсь к стене. Нимб греет затылок.

— Я не могу без тебя! — кричит слабая. — Мне страшно, мне тяжело... Не прогоняй меня...

Она ловит мои руки.

— Сядь, — говорю я, и она садится прямо на пол.

Я смотрю ей в глаза. Ее зрачки расширяются, мечутся, слезно мерцает радужка. Глаза растекаются, становясь приятно податливыми, покорными.

Я знаю, что слабая обожает меня. Я знаю, что нет для нее муки слаше, чем видеть меня. Я говорю ей долго и сложно, я говорю ей “деточка”, и “голуба”, и “душа моя” — не потому что старше, пусть слышит то, что хочет услышать. Ей нравится, что я такая сильная. Мне нравится, что ей нравлюсь я.

— Ты дура, — говорю я. — Уходи.

Она смотрит на меня с нежностью и медленно тает в дверном проеме.

\*\*\*

Он не мог позвонить. И постучать тоже не мог. И я просто вдруг поняла, что он уже здесь. Я ничего не услышала, просто поняла и открыла дверь.

Он стоял, босиком на цементе. Губы, испачканные малиной, оттопырились, готовясь заплакать, волосы светились, как мои. Испуганная и восхищенная, я взяла его за руку.

— Пусти, — сказал он и выдернул руку. — Я хочу есть.

И мы пошли в мою неотягощенную подробностями кухню, и не нашли там ничего. Все съедено, милый мой, ничего нет.

Я заглянула в его глаза, такие же прозрачные. Он смотрел не обиженно, а как-то долго.

— Ты не ждала меня, — проворчал он. — Ты никогда меня не ждешь.

Я хотела погладить его по голове, но он не позволил.

— Обстриглась, — протянул он. — Зачем?

— Милый, они мешали...

— Глупости! Глупости все. Я хочу спать.

Я хотела взять его на руки, но он не позволил. Он залез на мою кровать — с грязными ногами залез, отвернулся к стенке. Я села рядышком. Он молчал.

— Хочешь, я расскажу тебе сказку? Про толстую подругу?

Он молчал.

— А про умную подругу? А про слабую, хочешь?

— Зачем? — спросил он меня совсем не сонным голосом. — Я знаю эти сказки, я тысячу раз их слышал.

Я молчала.

— Воспитание детей нельзя доверять кому попало, — он стукнул кулаком по подушке. — Я уйду к умнице, пусть она найдет мне элитную женщину, я уйду к ней.

Он заплакал.

Я схватила его на руки и стала носить по комнате, укачивая, уговаривая, утешая. Он размазывал по моей груди слезы — маленький некрасивый ревушка с красными глазами. Я так и не надела халат.

— Маленький мой, миленький, ну что ты, ну что? — бормотала я, разглаживая ему волосы. Их если снизу потрогать, они жесткие, а если погладить...

— Не плачь, мой милый, вот тебе лучшая сказка: все дураки.

— Все? — с надеждой всхлипывает он.

— Все, все.

— И ты тоже?

— Еще какая дура.

Он смеется сквозь слезы.

Воспитание детей — тяжкая ответственность. Вчера я отлучила его от груди.

— Не плачь, малыш. Завтра придет умница с философской концепцией, и слабая с запасным нимбом, а толстая подруга принесет нам колбаски и расскажет о камнях... Ты знаешь, что такое камни?

Весна 1992 г.



## Владимир ЭЙСНЕР

Уроженец Омской области.  
Работает в госзаповеднике "Таймырский".  
Публиковался в окружной и краевой печати,  
Мюнхене, Триесте, в альманахе  
"Полярное сияние" 1996 и 1997 годов.  
Живет в поселке Хатанга.

### МАКАРОВА РАССОХА

*"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребают и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе... ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше".*

Евангелие от Матфея, гл. 6, 19 — 21.

√ Макарова Рассоха течет там, куда Макара телят не гонял. Макарова Рассоха воробью по колено. Макарова Рассоха девять месяцев в году не течет. А три месяца течет. В янтарных берегах.

Долгой стылою зимой ее глубокий каньон — лишь морщинка на белом лице тундры, но приходит благословенный июнь и поднимается паводок, бешеный и веселый. Как вены на руке рыбака, вздуваются тундровые потоки, и становится Рассоха полноводной рекой, и вымывает из мерзлоты берегов красивые желтые камешки, теплые и приятные на ощупь. Бросишь такой в костер или подожжешь спичкой, и услышишь запах древнего знойного лета, давно умершего ветра и давно отшумевших лесов. √

И бьют в берега мутные вешние воды, и вымывают грубые кости и спиральные полуколеса мамонтовых бивней.

И туго скрученные струи распиливают высокие берега, на которых тундровые кочевники имеют обыкновение хоронить своих мертвых. И схлынут воды, и останутся на черном песке белые косточки живших до нас людей.

В жаркий июньский день возле ювелирной мастерской в центре города остановился рослый белобровый блондин со спортивной сумкой на плече. Еще раз сверив адрес, он шагнул в приоткрытую дверь, вежливо поздоровался с хозяином и, после условной фразы, положил на стол перед ним крупный желтый камешек.

Тихонько поговорили, и хозяин пригласил гостя в смежное помещение. Тотчас юная смуглянка подала кофе и коньяк. Пока гость занимал место за столиком, хозяин сделал девушке неприметный знак. В соседнем помещении она прошла к телефону и сказала несколько слов.

Между тем, содержание сумки было тщательно взвешено, и тугие пачки денег перекочевали в ту же сумку на место желтых камешков. Еще по рюмке коньяка, и хозяин и гость вежливо распрощались.

На улице белобровый гость не спеша осмотрелся, достал пачку сигарет и закурил. В это мгновение слегка ото-

двинулась шторка на окне старенькой "Волги" на другой стороне улицы, и человек с навинченным на камеру мощным телеобъективом сделал первый снимок.

Блондин проследовал вниз по улице, к остановке метро и так же не спеша, поодаль от него, шел парень в темных очках.

Вечером того же дня на стол перед человеком с безгубым ртом и холодными глазами легли несколько фотографий. Недолго рассматривал он их и властно объявил стоявшему перед ним люжему молодцу:

— Карту и подробное описание... Отправишь группу Бешмета. Пусть предложат ему двадцать процентов. Если нет... — и он щелчком сбил с сигареты пепел.

По левому, высокому берегу Макаровой Рассохи стоят охотничьи пасти старика Евдокима. Евдоким не признает капканов. Основная деталь пасти — тяжелое падающее бревно. Оно убивает песца на месте. В капкане же песец долго мучается, частенько откручивает себе лапку и уходит, чтобы потом все же погибнуть в тундре. Поставить капкан относительно легко. Чтобы сделать и настроить пасть, надо много потрудиться.

И капканы, и пасти требуют ежегодного осмотра и ремонта. Охотники занимаются этим в конце лета, когда исчезает комар — мученье для человека и животных и корм для птиц и рыб.

Обычно старик обходит свой участок пешком. Но в этом году у него "пневматик". Три рослых кобеля: белый, черный и рыжий шустро тянут по моховой тундре легкую двухколесную тележку. На тележке от пасти к пасти с комфортом едет сам Евдоким, его лопата, вещьмешок и связки колышков для ремонта.

Километров пять-шесть отъехал старик от своей базовой избушки, старой заплесневелой развалюхи, построенной, наверное, еще тем самым Макаром-первопроходцем, как вдруг услышал странные звуки.

Как будто мелкие камешки быстро бросали на железный лист, как будто с треском ломали ветки от костра, как будто лопался от мороза лед на реке. Последние звуки дед распознал. Это "голос" тяжелого охотничьего карабина калибром девять миллиметров.

Вперед, собачки! Совсем рядом большая охота! Достанется и вам на зубок, лохматые!

Собаки рванули и бросились в распадок, где впадает в Рассоху безымянный ручей.

На берегу ручья горел пневматик. Настоящий. Новый. Четырехколесный. Бензобак и камеры, пожираемые огнем, густо чадили в вечернем воздухе.

В стороне от машины, лицом вниз — человек неподвижно. Собаки обнюхали его, сбились в кучу, перепутав алыки, и завывли. Евдоким подошел.

Кровь уже пропитала мох и гальку и широким языком застывала на песке. Не без труда Евдоким перевернул убитого лицом вверх. Заросшее черной бородой молодое зловатое лицо с перебитым носом и шрамом на левой скуле. Пуля угодила в шею. Из раны все еще вытекала густеющая кровь, последнее тепло жизни...

— Эх, какой молодой!..

Тундра вокруг как железным прутом исхлестана. Длинными полосами лежал вырванный мох: пули ложились почти параллельно земле, значит, и тот, второй, стрелял лежа. Но где же он?

А вот! В двухстах шагах, под нависшим козырьком берега, небольшая палатка. Очень странная палатка. Не пой-

меш, какого цвета. Вся в бурых, серых, палево-блеклых пятнах, как мундир пограничника или куртка геолога.

— Э-эй! кто-нибудь живой есть?

Деду никто не ответил, и он, стараясь как можно больше шуметь, покрикивая: “Живой — выходи, однако!”, подошел к палатке. У входа — лопнувший от удара о землю вещмешок со свежим оленьим мясом и густо кровь на мху. Евдоким оттянул тяжелый от грязи и крови полог и, ежесекундно ожидая выстрела в грудь, закрепил его на крыше застегкой...

В палатке, на раскладушке, сидел крупный тяжелый мужчина. Белобрысый и белобровый. Он раскачивался и мычал, сунув черные от боли глаза. На его груди висела половинка бинокля. Другая половинка кашей из стекла, металла и крови стекала вниз по животу на руки, сжимавшие тяжелый карабин. Увидев тшедушного скуластого старичка, блондин выпустил оружие из рук. Падая, он увлек за собой стоявший у примитивного столика пластиковый мешок, и рассыпались веером желтые камешки, каких много на песчаных плесах Макаровой Рассохи и впадающих в нее ручьев.

Мужчина поднял правую руку и промычал:

— Там-м... Б-бинт...

В кармашке на стенке палатки старик отыскал бинт, йод и таблетки.

И здесь — пуля слева в шею. Только чуть пониже, там, где толстое мясо над ключицей. Оба отверстия, входное и выходное, обильно кровоточили. Дед, как мог, забинтовал рану, пропустив бинт под правую руку. Затем уложил раненого, расстегнул на нем рубашку такого же цвета, что и палатка, смыл кровь на груди и выбрал из растерзанной плоти осколки стекла и металла от разбитого бинокля. Лицо незнакомца стало белым, как снег, и он тихо “заснул”. Евдоким попытался его растормошить, понимая, что лучше, если раненый будет в сознании, но ничего не добился. Сердце геолога впрочем билось ровно, и дед немного успокоился.

Собаки продолжали выть. Евдоким прикрикнул на них, отстегнул алыки, освободив своих лохматых коней, и подошел к убитому. Присев на корточки, как это принято у кочевников, он долго сидел, горестно разглядывая незнакомое угасшее лицо, жалея о молодой жизни, негромко приговаривая на родном языке... С помощью собак выволол он труп на крутой берег Макаровой Рассохи и там похоронил в тесной могилке, прикрыв тело куском брезента. На брезент, в ноги, положил он и оружие неизвестного, совсем маленький карабин с коротким стволом. От своей тележки дед оторвал доску, ножом расщепил ее надвое и водрузил над могилкой крест, как это принято у белых людей.

Нюча\* в палатке продолжал спать. Дыхание его стало глубже и ровнее, обморок перешел в сон, а сон исцеляет.

На берегу ручья старик развел костер, сволок поближе к огню рюкзак с мясом, нарубил и бросил собакам по доброму куску оленины и поставил кости вариться в котелке. Нанизав на ивовый прут несколько кусочков мяса, слегка поджарил на углях и так, без соли, сжевал.

В середине августа на этих широтах ночи еще не ночи, так, светлые сумерки. Но в палатке темно. Евдоким нащупал и зажег свечу на столике и тогда увидел, что белобровый следит за ним живым настороженным взглядом.

— Кушать будешь, геолуг? — обрадовался дед.

— Нет... — чуть слышно.

— Когда олень больной, когда собака больной, — ничего не кушает, только вода мало-мало пьет! Так и человек нада! Шурпа, однако, пей!

И он заставил раненого сделать несколько глотков крепкого мясного бульона.

— Теперь спи, однако. Утро будет — думать будем. Крепко спи — здоровый будешь. Какое тебе имя звать? Андрей? А я — Евдоким Нилович буду. Тут рыбац, тут охотник. Тут свой старуха хоронил, тут сам помирать буду... Еду-еду — стреляют, однако? Много стреляют — большой охота! Быстро-быстро, собачки! Однако, вот какой охота...

Евдоким еще долго возился, устраивая тяжелое тело раненого в спальнике и устраивая ему удобное изголовье. Сам он прошел к костру и расстелил подле него оленью шкуру.

— Янго! — позвал негромко.

Рыжий пес, самый крупный, подошел, ласкаясь. Старик погладил его, потрепал и уложил рядом, со спины.

Часа через два заметно похолодало. Дед, пригретый собакой, продолжал спать у потухающего костра. В это время два других пса покончили с обнюхиванием незнакомых предметов и обследованием местности. Как-то незаметно, оба разом, оказались они подле рюкзака с мясом. Некоторое время псы спокойно лежали рядом с лакомством, настороженно пошевеливая ушами, зорко вглядываясь в спину спящего хозяина. Наконец, обе морды одновременно рванули плотную ткань. Рюкзак, и без того лопнувший по шву, затрещал и порвался. Спокойно, без драки, недозволенное пиршество началось. Но Евдоким не проснулся. Тогда Янго, через силу терпевший подобное нахальство и давно уже подбиривший слюну, начал помаленьку-потихоньку, миллиметр за миллиметром, отодвигаться от спины хозяина. Еще минута — и он поспешил за своей долей. Негромкий рык, демонстрация клыков, и — грабь награбленное — достался и Янго хороший кус. Через час, оставив на мху чисто обработанные кости, псы разбрелись по своим местам: Ургал и Минго под тележку, Янго опять прикрыл хозяина со спины.

Тут выкатилось пыльное кустодиевское солнце и враз пригрело отсыревшую палатку, отдыхающих собак и спящего деда, очень похожего издали просто на кусок оленьей шкуры.

Евдоким стал прикладывать к ране повязки с мелко нарубленными мясистыми листьями полярной ивы. Из пораженного места начали обильно выделяться гной и обрывки ниток от пробитого пулей воротника куртки. Жар у больного прошел, опухоль спала, и на пятый день Евдоким решил возвращаться в зимовье.

Рано утром уложил он раненого и его оружие на тележку, собаки тихо тронули, палатка и могилка остались позади. Белый нюча был крепкий мужчина, он пробовал идти сам, но, видя, как трудно ему держать голову, Евдоким укладывал его в тележку.

Завидев избушку, собаки сильнее натянули алыки, дед радостно всполошился, но Андрей только горестно сомкнул тяжелые веки: над крышей высоко взметнулась тонкая жердь с антенной. Рация...

В зимовье, столь маленьком, что рослый человек, раскинув руки в стороны, свободно достал бы от стены до стены, темно и сыро. Евдоким держал геолога за руку, пробуя пристроить его на нижние нары. Но тот вдруг покачнулся и локтем сбил со стола ящик рации.

\*Нюча — так называют русских долганы.

— Ай-я, — запричитал дед, — как теперь доктора визитовать буду!

Он поднял аппарат на стол и принялся подсоединять оборванные провода питания. Затем уложил Андрея на нары и поспешил к ручью за водой.

Оставшись один, геолог дотянулся до рации, открыл гнездо предохранителя и ногтем выколупнул тонкий стеклянный баллончик. Если рация, паче чаяния, осталась цела, дед вряд ли догадается сменить предохранитель, да и есть ли у него запасные...

Евдоким, вернувшись с ведром воды, застал геолога таким же слабым, как и в первый день, а из-под повязки опять показалась кровь. Но в дальнейшем дело быстро пошло на поправку. Проснувшись одажды утром от упавшего на лицо солнечного луча, Андрей вдруг радостно почувствовал себя отдохнувшим и крепким. Осторожно оторвал голову от подушки, повернул ее направо-налево и чуть не рассмеялся: исчезла тупая, тяжелая боль. Наконец-то можно будет умыться самому!

Деда не было в избе: он встал еще раньше и сейчас, очевидно, проверял сети на озере.

Убранство избытки было крайне простым. Двое нар, столик у окна, два чурбана вместо стульев, печка, рукомойник и длинная полка над нарами. На полке виднелся ящичек с инструментом, мотки рыбацких шнуров и ниток, несколько старых журналов, прямоугольный сверток из ровдуги\* и, в самом углу, большая темная шахматная доска!

Фигурки, старательно вырезанные из мамонтовой кости, были все в наличии, видно, когда к Евдокиму наезжали гости, шахматами пользовались.

А в свертке из ровдуги оказалась Библия! Старое, дореволюционное издание на церковно-славянском языке в кожаном переплете с серебряными застежками.

Тяжелая эта книга производила впечатление вещи живой и теплой, как будто сохранила она тепло тысяч рук, впитала свет тысяч глаз представителей самых разных народов, печатавших, переплетавших, перевозивших эту ценность на край света, в таймырскую тундру, где она переходила от отца к сыну, уцелев от всех потрясений века.

В это радостное солнечное утро Андрей умылся сам и не из рукомойника в избе, а спустился к озеру, пофыркал, поплескался, осторожно растер больное место живою, холодной, звонкою водою, позавтракал куском рыбы и сел чинить бинокль.

Когда вернулся дед Евдоким, Андрей протянул ему уцелевшее "очко" от бинокля:

— Владей, деда!

— Ай, пасиба, сынок!.. Тундра без бинокля плохо! Теперь смотрю — все вижу! Ты мастер, однако!

— Сыграем? — геолог рассыпал по столу шахматные фигурки и стал расставлять их в первоначальную позицию.

— Давай! — Дед тоже оживился.

Прежде чем сделать первый ход, Андрей снял обе ладьи — медвежьи фигурки — и поставил их на стол.

— Не надо! Я хорошо играю! — Без тени юмора похвалил себя старик.

Усмехнувшись, геолог вернул фигурки на место.

Первую партию он проиграл.

Вторую тоже.

Третью свел вничью.

Евдоким не скрывал своей радости, но считал нужным

утешить проигравшего:

— Ты молодой, однако. Хорошо думаешь. Только много-много там-там думаешь. Голова другой место ходит. Надо тут думать, крепко думать, тогда совсем хорошо играть будешь!

— Спасибо! — Андрей деланно рассмеялся и собрал фигурки.

Евдоким накрошил папиросу в свою трубку и закурил.

— Деда, вот тут у вас Библия. Вы читаете?

— Однако, неграмотный...

— Зачем тогда книгу держите?

— Матеря дала. Береги, говорила, шибко старый книга Бог пишет. Ангелы.

— Вы, стало быть, верующий, — улыбнулся Андрей.

— Однако, так!

— Я тоже верующий, только в человека!

— Можно, можно, — согласился дед, только когда много рыба твой сети попадает, кому пасиба говорить будешь? Человек? Когда много песец твой капкан ловил, кому пасиба говорить будешь? Человек? Когда беда попадешь, как рыба сети, как песец капкан, кому караул кричать будешь? Тундра большой. Человек нету. Только Бог!

— Но, деда, мне же не Бог помог — вы!

Старик перестал курить и прямо взглянул на собеседника. Внимательный, немного усталый взгляд, карие радужки и чистейшие белоснежные белки глаз, признак физического и душевного здоровья.

— Меня, однако, Он послал. Так думаю. Рано — нет. Поздно — нет. Когда надо послал. Сверху смотрел, все видел, как мы бинокля смотрим... Мой дорога возле твой дорога близко делал... Как дальше будет, тоже Он знает... Зачем, однако, камушки мало-мало воруюшь?..

И вот тут геолог почувствовал, как горячий стыд юношеским жаром бросился в голову, зардели щеки и пересох язык.

— Вор! Ах ты, старый гриб! Но, стоп, Андрюша, разве другим именем называется то, что ты делаешь сейчас в тундре и за что получил пулю? От такого же в общем-то авантюриста, только более жадного и бесцеремонного...

Нет! Я поднял лишь то, что лежит под ногами, что никому не нужно, что все равно замозет илом или сотрет в порошок река. Разве я виноват, что никому нет дела до минеральных богатств этого края, по сравнению с которыми пушнина и рыба — мелочь, не стоящая внимания?

— Продавать буду, — через силу выдавил Андрей: не имело смысла лгать деду. — Деньги надо. Семья.

— Сынок есть?

— Жена и два сына!

— Хорошо! Только еще сына делай. Один сын — не сын, два сына — полсына. Три сына — это сын! Учить будешь? Геолог будут?

— Эх, деда, знал бы ты, сколько всего надо для детей и во что обходится учеба! Слишком много веселых молодых парней у меня на глазах стали угрюмыми отцами семейств. Нет! В этой стране на зарплату не проживешь! Но я нашел свой путь. Своими руками и знаниями своими добываю я хлеб. Никому не мешаю и пота проливаю больше, чем иной фермер на своем поле. Да, я не имею разрешения на сбор камешков на земле твоего народа, дедушка, но покажите мне того, у кого такое разрешение есть! Промышленного значения все эти мелкие месторождения не имеют, но старательский сбор янтара вполне можно бы наладить. Наверняка не я один "тихушничаяу"... А Норильский ГОК\*, отра-

\* Ровдуга — тонко выделанная оленья или нерпичья кожа.

вивший все вокруг до самой Канады, имеет он разрешение на разработку недр на земле твоего народа, дедушка? То-то же..." И все же какая-то заноза, терзающая совесть, оставалась, и Андрей собрался уже все толком и доступно объяснить собеседнику, но замолк, увидев поникшего деда.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что у Евдокима было два сына и две дочери. Девочки умерли во младенчестве. Жена, здесь, на Рассохе, в прошлом году в одночасье умерла "от живота" — во-о-н из окошка видно оградку вокруг ее могилки. А оба сына в пьяном виде погибли в несчастливый день... Сели в лодку и на полной скорости налетели на топляк\*\*. Лодка перевернулась... Оба "немножко утонули, однако..." В поселке остались у Евдокима лишь старшая сестра и с ней единственный внук, сын старшего сына...

Андрей уже собрался было кинуться в философский спор: что же, мол, за Бог такой, отнимающий у Человека самое дорогое? Что же, и за это ему "пасиба" говорить? Но тут заметил, что старик тихо плачет, смаргивая слезы на отмывые в тысячах вод, белые, как у европейца, усталые руки, густо усыпанные старческой гречкой...

Наутро дед ушел на озеро, а геолог устроил стирку-уборку. Вымыл и вычистил избушку и пристройку, в большом баке нагрел воды. Белья у Евдокима практически не было. Вещей, подлежащих стирке, тоже. Рубашки дед надевал прямо на голое тело да так и носил, пока не сопреют. Но штаны зашивал и ставил заплатки, но и они имели крайне ветхий вид. Всю жизнь проработав в тундре на богатом пушном и рыбном промысле, человек этот ничего не имел за душой. Даже зимнюю теплую одежду шила ему сестра из оленьих шкур.

Белье Андрей полоскал в чистой воде ручья и тут же развешивал сушиться на кустах карликовой ольхи. Привлеченная шумом и бульканьем, приплыла стайка хариусов и стала метрах в пяти выше по течению. Андрей бросил в них камешком — рыбки пустились наутек, но тут же вернулись, спрятались в тень от кустов и там притаились, как котятка, караулящие мышшь.

...Радуетя глаз свету костра, притягивают взор изменчивые формы облаков, но больше всего волнует текучая непостоянная вода. Долго можно просидеть на берегу ручья, слушая его монотонное лопотанье, журчанье, плесканье. Бывает, так и заснешь, под тихий перепев струй. Так легко и так хорошо думается под этот "белый шум", древнейший из звуков Земли.

В танце былинки на бегущей волне заметишь ты намек на свою судьбу, в мелькании теней на гладких камешках дна всплывут вдруг картины раннего детства, лицо матери и отчий дом, а в сплетении корней на том берегу увидятся копна волос, полуулыбка и быстрый взгляд и прорисуются знакомый с юности женский профиль...

Осень уже обильно прошла красным и желтым бисером кусты ивняка и карликовые березки на лугу, долина ручья упиралась в дальний синий хребет, а тот отгораживал синее небо от синего озера. Небесное от земного.

"И ничего этого ты не увидел бы, не явись дед так кстати, так вовремя..." Сверху смотрел — все видал, как мы бинокля смотрим... Мой дорога возле твой дорога близко делал... Как дальше будет, тоже Он знает..."

\* ГОК — горно-обогатительный комбинат.

\*\*Топляк — полузатопленное, плывущее вертикально в воде бревно, причина многих аварий на речном транспорте.)

Да, парень, тогда ты просто испугался обильно хлынувшей из раны крови и не знал, что делать, как поступить..."

В тот день, после удачной охоты, Андрей спускался с холма к палатке, как вдруг заметил катящийся ему навстречу пневматик. Зрелище для тундры редкое. Он поднял бинокль.

Человек у машины тоже разглядывал его в бинокль, и было в человеке этом что-то зловеще-знакомое... Едва успел Андрей подойти к палатке и сбросить рюкзак с мясом, как ударила первая очередь и вдребезги разлетелся бинокль на груди.

Тогда, в гостинице краевого центра, к нему в номер без стука вошли двое мужчин кавказского типа. Один — с перешибленным, почти плоским носом и шрамом на левой скуле, второй — молодой улыбчивый. Без обиняков плосконосый предложил пять процентов за совместную обработку "территории". Андрей лишь рассмеялся, сказал, что понятия не имеет ни о каких территориях и попросил гостей удалиться. Уходить гости не желали, но желали купить карту. Тогда геолог вышвырнул обоих в коридор. Но кавказцы не кинулись драться. Плосконосый медленно поднял фуражку-"аэродром", отряхнул ее о колено и, снизу вверх глядя на геолога, шкафом нависшего в дверном проеме, осклабился:

— Пожалеешь...

Андрей захлопнул дверь и возбужденно зашагал по комнате. Камешки он сбывал всякий раз другому покупателю. Подыскивал клиентов и договаривался о цене старый институтский товарищ, человек надежный. На кого теперь думать?

Вечером следующего дня, возвращаясь в гостиницу, Андрей заметил за собой знакомых кавказцев. Они и не думали скрываться. Младший даже снял фуражку и сделал геологу ручкой. Примерно за квартал до гостиницы началась заброшенная стройка, огороженная высоким глухим забором. Все фонари здесь были разбиты, улица лежала в темноте. Преследователи прибавили шагу.

"Та-ак, значит, здесь... Ну, не думайте, ребятки, что на цыпленка напали"...

Войдя в темноту, Андрей резко оглянулся. Так и есть — бегут! Он повернул назад, и преследователи сами набежали на него. Удар пришелся старшему в перебитый нос. Мешком упал он на тротуар, звякнул и покатился по асфальту нож. Андрей подхватил лезвие и бросился на второго, но парнишка уже улепетывал, да так ловко, что сразу же скрылся из глаз.

В гостинице Андрей обнаружил пропажу карты. Пометок на ней, правда, не было, кроме единственной карандашной точки в том месте, где стояла палатка...

Собрав высохшее белье, Андрей поднялся к избе и здесь в голос рассмеялся: дед Евдоким испуганно отмахивался от огромного шмеля какой-то старой шапкой, а тот с тяжелым гудением, как бомбардировщик, пикировал на деда то справа, то слева, заставляя его отмахиваться и испуганно приседать.

— Деда, — сквозь смех крикнул геолог, — что же вы!.. В пристройку — и дверь закройте!

— Ай, правда! Ай, пустой башка! Совсем, однако, старый стал! — дед быстро юркнул в пристройку.

Выяснилось, что Евдоким еще весной повесил на улице, на шест свою шапку да и забыл про нее. Сейчас решил взять, а там "шмель свой щенки развел". Старик "щенков" вытряхнул, шмелю не понравилось...

На другой день, с утра, Андрей ушел к палатке, чтобы собрать рассыпанные там камни. Еще два пластиковых мешочка с янтарем были спрятаны километрах в двух от палатки. Весь груз можно было взять за один раз.

Покидая избушку, Андрей не мог не улыбнуться идиллической картине: на зеленой завалинке, угревшись на осеннем солнышке, мирно спали Евдоким и его собаки. Темное лицо старого охотника, как бы составленное из кусочков мозаики всех оттенков коричневого, казалось частью дерева избы.

Издали, очень издали, слышен в тундре гул вертолета. Иногда за двадцать и за тридцать километров.

Этот звук, хотя и не походил на обычный гул турбин МИ-8, все же шел откуда-то сверху.

Вскоре показался и сам источник шума. Низко над землей проплыла картинка из журнала: крошечный вертолетик выписывал над холмами круги и зигзаги.

Геолог сразу понял, кто это такие и чего хотят в тундре. Жаль, не успел... До палатки оставалось меньше километра.

Осторожно дополз Андрей до крупного валуна, снял рюкзак и карабин. Несколько взмахов ножом — и широкий пласт моховой дернины легко отделился от мерзлоты. Под это бурое одеяло он и заполз, положил под живот пустой рюкзак, пристроил под руку карабин и замер.

Вертолетик несколько раз прошел вблизи, затем прямо над головой. Сквозь плексиглас кабины виднелись лица двоих человек.

Разглядывая летающую невидаль, Андрей горько усмехнулся: в других странах с этим просто, но попробуй ты у нас, в России, получить права на управление любительским воздушным судном! Затаскают по кабинетам и комиссиям. Но деньги делают все...

Пилоты, наконец, обнаружили палатку и приземлились на берегу ручья. Держа руки на невесть откуда взявшихся короткоствольных автоматах, они обследовали окрестности, вошли в палатку. Вынесли оттуда мешок с янтарем и, прихватив лопату, отправились откапывать могилку. Андрей приник к половинке бинокля.

Из могилы был извлечен такой же короткоствольный автомат, — а дед ни словом не обмолвился, — и погоди-ка! Один из гангстеров спрыгнул в яму и там, наверное, обыскивал труп. Выпрыгнув, он торжествующе развернул перед вторым большой бумажный лист: карта!

Затем тот же "налетчик" принес из кабины вертолетика фотоаппарат и заснял палатку, сгоревший пневматик на склоне и развороченную могилку. Строго с отчетностью в разбойничьей организации! Могилку кое-как забросали землей, отбросив в сторону крест, и забралась в кабину. Следуя извилинам реки, вертолетик пошел вниз по течению.

Андрей прикусил губу. Сейчас наткнутся на зимовье старого охотника... Впрочем, с деда-то что возьмешь... И все же предчувствие беды сдавило грудь, геолог заспешил назад и никогда еще пеший способ передвижения не казался ему таким несовершенным, как сейчас.

Между тем, в кабине аппарата происходил такой разговор:

— Глянь, изба! А на карте нету! Может, он здесь? Давай?

Второй кивнул. Вертолетик легко подпрыгнул на моховых кочках у самой избы. Лопасты задрожали и остановились.

— Никого, даже собак, — удивился молодой крепкий парень, летевший "пассажем", — значит, маску — на хрен?

— Ну.

Оба с открытыми лицами вышли из кабины, но тут дверь пристройки открылась, три рослых кобеля с лаем бросились на незнакомцев, а следом показался и сморщенный делок с трубкой в зубах.

— Ну во-от... — у "пассажира" сразу испортилось настроение.

Деда теперь придется убрать, приказ был строгий, а убивать парню не нравилось, не втянулось...

— Здоров был, дедушка! — весело гаркнул пилот. — Показывай свое хозяйство! Чужой человек, высоко, светлый, случаем не заходил сюда?

— Заходите, однако, чай пить будем!..

Гости Евдокиму сразу не понравились, потому что не понравились собакам. Псы, обычно приветливые и любопытные ко всякому новому человеку, сейчас исходили злобным лаем.

С утра было у Евдокима тоскливо на душе. Странный сон приснился. Будто он вновь ребенок. И пурга. И холодно. И бегают, ищет родителей... И будто он чайка. И летит. И внизу блестит река... И будто Ульяна, умершая жена его, снова здесь. Сидит у воды, чистит рыбу. Но как холодно и одиноко! От холода он и проснулся, хотя, угретый собаками, спал на завалинке...

На деда уже не обращали внимания. Все перерыли в избе. Парень сунул в сумку шахматы, хотел и Библию, но пилот съязвил:

— Побойся Бога! Сколько народу ее в руках держало! Думаешь, они моются, эти "дети природы"? Через одного — туберкулезники! Подхватишь северный СПИД, не говори потом, что не знал!

Парень брезгливо отбросил книгу в угол, но шахматы все же взял, уж больно фигурки красивые, и принялся изучать старое дедово ружье.

В пристройке старший разбойник тряс перед лицом деда выстиранной рубашкой геолога, столь большой, что в нее без труда можно было бы поместить двух человек дедовой комплекции.

— Не молчи, дед! Куда ушел этот человек? Раз стирался, значит давно здесь живет! Или двое их? Вся палатка изнутри кровью измазана... Ранены? Где они?

— Однако был. Однако ушел! Кажин человек свое дело есть.

— Знаем мы ваши дела! Не хочешь здесь говорить, в милиции скажешь, там язык быстро развяжут! — и еще что-то кричал старику и даже топал на него ногами.

— Нет добра от этих нюча на свете... Всю тундру солярой залили, изорвали гусеницами вездеходов... Рыба болеет, олень худой, гусей не стало... Теперь им камушки надо... Тот нарочно рацию разбил, эти бегают его ищут... Суета суета... Камушки вам? Так я знаю место — хоть лопатой гребь... Бери — не жалко!"

Во дворе собаки бросились на младшего разбойника, тащившего сумку с краденым, и белый кобель прокусил ему икру ноги. Ударил очередь, и оба пса, Ургал и Минго, отчаянно скуля и орошая кровью мох, покатались по земле.

— Ты что, сдурел? А если этот рядом? Собак добей, дура, стрелять не умеешь!

Длинной очередью "пассажир" прошил собак еще раз. Истощенный визг затих.

Старый охотник, казалось, лишился дара речи. Он не протестовал, когда пилот за шиворот втащил его в вертоле-

тик и втиснул в проем между сиденьями. Аппарат легко поднялся и низко пошел над холмами. Километрах в трех от избы оказалась поросшая карликовой ольхой балка, на дне которой блестела нить ручья. Пилот потянул ручку на себя и, когда машина набрала высоту, коротко крикнул "пассажиру":

— Пошел! Ну!!!

Парень открыл кабину, схватил деда за плечи и выкинул его из кабины. Еще раз низко прошли над оврагом. В кустах, у самой воды, лежало нечто бесформенное, серое, только что бывшее живым человеком... Младший тихо вытолкнул бледными губами:

— Надо было в озеро — концы в воду!

— Дура! Труп всплывет — улика! А так — песцы растаскают, как и не было!

Через какое-то время Евдоким, упавший на плотные, перевитые между собой кусты ольхи, пришел в себя и, цепляясь руками, — ног будто не было, — пополз вверх по склону. Примерно через час он дополз до полянки и повернулся на спину, так чтобы видеть небо. Но сразу же понял, что так лежать нельзя. Кровь из проколотого сломанными ребрами легкого обильно заливала рот. Лицом вниз ее удавалось сплевывать, а теперь ее вязкая масса затрудняла дыхание.

Помогая себе руками, Евдоким с трудом повернулся на правый, менее пострадавший бок. Так тоже видно кусочек неба. Все. Силы кончились. Только глаза еще видят и сердце бьется.

... "Благодарю тебя, Господи, что даешь мне умереть в сознании, со всеми проститься, у всех попросить прощения... Но кто это?.. Янго? Я-анго!.. Как хорошо, что пришел ты, Янго! Какая у тебя красивая, теплая, густая шерсть! Как часто грел ты меня зимой и летом... И теперь прибежал..."

Большой рыжий пес, на котором шерсть стояла дыбом от страха, скулил и метался над хозяином. Он облизал старику руки и, тихо поддев легкое тело хозяина носом, принялся вылизывать ему кровь на губах и подбородке.

"...Янго... Не делай так, Янго... Так тяжело, так трудно стало дышать... Правильно, Ульяна, прогони дурного пса, прогони его палкой!.. Дай мне руку, Афанасьевна, дай мне руку, помоги мне встать!"

"Пойдем", — тихо сказала Ульяна, — пойдем со мной. Там тебе не будет больно..."

Андрей скорее почувствовал, чем услышал далекие выстрелы и побежал. Чувство раскаяния и запоздалая злость удвоили силы. "Осел! Ка-акой ты осел! Знаешь ведь, что эти не ведают жалости. Стрелять надо было, сразу надо было стрелять, а ты..."

Белый пес издох, положив голову на порог... В избе все раскидано, перерыто, перевернуто...

— Евдоки-им! Де-еда-а! Ургал! Янго! — стал кричать геолог во все стороны и тогда услышал из кустов тихий собачий скулеж.

Черный пес, прошитый многими пулями, лежал у самой воды с перебитым позвоночником. Он слабо лизнул Андрея в руку и снова жалобно заскулил.

— Ах, Ургал, Ургал, что они с тобой сделали, сволочи!

Андрей присел на корточки, набрал пригоршню воды и дал собаке напиться.

— Прости, Ургал! — И выстрелил псу в голову.

Но не успел геолог подняться к избе, как рыжим вихрем налетел Янго. Он выл, скулил, вскакивал лапами на грудь человеку, норовя лизнуть в лицо, отбегал и подбегал вновь.

И когда человек понял и побежал, пес огненным факелом помчался впереди.

Легкое тело Евдокима Андрей принес на своих плечах. Могилку выкопал на берегу Макаровой Рассохи, в оградке, рядом с могилой жены старого охотника.

"Прости меня, дедушка, виноват я перед тобой... Пойдем, Янго, я думаю, они еще вернутся..."

Прибирая вечером в зимовье, Андрей нашел отброшенную в угол, раскрытую на евангелии от Иоанна, Библию. Зажег керосиновую лампу и так и просидел над старой книгой до утра.

"Они" прилетели на следующий день. Андрей, хотя и ждал, едва успел вынуть стекло из окна пристройки и вставить обойму в карабин.

Почти беззвучно, как на санках, скатился вертолетик с холма, и оба вчерашних крутых мужика направились к избе.

"И где же в этой летающей жестянке бензобак?"

И двух шагов не отошли гангстеры от вертолетика, как ударил выстрел, в куски разлетелся плексиглас кабины, полыхнуло огнем и спины обоих "налетчиков" враз охватило горящим бензином.

Побросав оружие, они стали кататься по земле, срывая с себя одежду. Младший, которому досталось больше, с диким воплем прыгнул в ручей. Его изрубленная осколками плексигласа спина представляла собой сплошную рану. Пилот же, напротив, быстро пришел в себя и сразу потянулся к автомату.

Не надо! Вторая пуля шевельнула мох над самыми пальцами. Только тогда пилот встал с колен и медленно поднял вверх руки. На его лице нет страха. Лишь досада и злость. Не в силах смотреть на черное дуло в окне пристройки, он отвернул голову.

Мушка остановилась на измазанном сажей ухе.

"Сейчас нажму! Не думай, с-скотина, что я тебя пожалею! Хватит мне возни и с тем, что сейчас барахтается в ручье и кричит, словно женщина в родах".

Еще секунда. Уже видно, как внезапно выступивший пот протаял себе дорожку на грязной щеке. Но третьего выстрела все нет. И уже не будет.

В прорези прицепа появляется вдруг печальный дед Евдоким. Тихо, очень тихо что-то он говорит... И сердце снова возвращается из горла в грудную клетку, и карабин медленно опускается вниз...

✓ Далеко-далеко на севере течет Макарова Рассоха, одна из малых рек моей Родины.

Дикие гуси ее вброд переходят.

А в половодье дикие олени вплавь пересекают.

Долгой стылою зимой ее глубокий каньон — лишь морщинка на бугристой ладони тундры. Но приходит благословенный июнь, и поднимается паводок, бешеный и веселый, и туго скрученные струи распиливают древние глины, и тогда огромными пластами обрушиваются берега. И схлынут воды, и останутся на черном песке теплые камешки, то яркожелтые, как солнце над тундрой, то темнокрасные, будто застывшая кровь живших до нас людей... ✓

## Юрий ГРАДИНАРОВ

Родился в Донбассе. На Таймыре с 1961 года.  
Автор сборников рассказов "Шаман Демниме",  
"Аргиш в Париж". Печатался в альманахе  
"Полярное сияние" 1996 и 1997 годов.  
Живет в Дудинке.

### ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

#### Повесть

(Продолжение. Начало в альманахе  
"Полярное сияние" 96, 97 гг.)

Сибирь встретила Любочку и Николая легким морозцем. После почти четырехсуточной дороги в затхлом уютном вагоне свежий морозный воздух казался им бодрящим эликсиром. Поеживаясь от прохлады, они пробирались мимо спящих пассажиров и встречающих. Останавливались, вертели головами, ища сестру Люсю, ее мужа Сашу, книжный киоск, у которого должны были встретиться, как условились по телефону. Наконец, дойдя до выхода в город, они увидели своих родственников. Расцеловались. Саша взял у Любы сумку.

— Отойдем чуть в сторонку от этой суеты и поговорим, — предложил Саша, присмотрев свободный пяточок перрона у металлического забора.

Любочка видела Сашу впервые, хотя он уже три года был женат на ее сестре. Приезжал дважды в Старый Оскол погостить к теще с тестем, но с Любочкой не встречался. Был он среднего роста, щуплый, лобастый и большеглазый. Люся же крупная, широколицая да кареглазая. Говорила быстро, членораздельно, как и подобает учителю русского языка.

— Ну как добрались? Наверное, измучились в этой железной коробке? — спросила Люся, указывая на вагон.

— Надоедливо долго ехать... Да и еда всухомятку... Ну, слава Богу, добрались, — ответила Любочка.

А Саша, взглядевшись в нее, сказал:

— Вы внешне такие разные, вроде и не сестры.

— Приглядишься — найдешь схожести. Люся ведь вся в маму, а я — и папина и мамина... Одним словом, семейная.

— Как там ваши детки? Наверное, уже вытянулись.

— Пока все, тьфу-тьфу, хорошо... Антону — шесть, Аленке — три... В садик ходят... Вот фотографии.

Любочка протянула их Люсе, а та, поправив очки, воскликнула:

— Антон — вылитый Николай, а Аленка, по-моему, в тебя, сестричка. Это я их не видела больше двух лет... Аленка еще не ходила.

— Да. Антону уже через год в школу.

— А Зина как?

— Ничего... Живут. Данилка растет. Толстый битюг. Возьмешь на руки — руки отваливаются.

— А папа с мамой?

— Ничего. Дюжат. Правда, побаливают. На будущий год папа обещал детей привезти. А как твой Сережка?

— У бабушки на воспитании. Как перешла из школы в облизполком, так и спихнула его свекрови. Мотаюсь по командировкам... Редко вижу...

Саша посмотрел на молчаливо стоящего Николая.

— Давай курнем наших, канских. У вас, наверное, таких нет.

И протянул ему пачку "Беломора". Николай прикурил, затянулся дважды, смакуя дымок, и сказал:

— Крепкие. А у нас болгарских сигарет навалом. Слабенькие... Только женщинам их курить.

Лицо его было хмурым. Он жадно затягивался папиросой, медленно выпускал дым, словно обдумывал что-то важное в жизни.

— А ты чего, Никола, загрустил? Как неродной, — взглянула на его Люся. — Новое место? Ерунда! Кемерово — город мощный! Здесь и культуры, и промышленности хватит на десять городов... Строительство идет вовсю! Обживетесь, может, и навсегда останетесь... Мы с Сашей никуда не рвемся... Нас все устраивает... С работой для вас вопрос решен... С общежитием тоже... Только не подведи меня, Николай, с этим...

И она поднесла указательный палец к горлу.

— Без желания я сюда прикатил... Не хочу здесь задницу морозить... Тут, как на Колыме, девять месяцев зима...

— Зря ты, Николай, — вмешался Саша. — Нормальная тут зима, конечно, морозней, чем в Осколе... А лето, — и Крым не нужен — жара стоит... Все вырывает, кроме цитрусовых... Да и зарплата повыше, с коэффициентом... Короче, жить можно, если работать. Увидишь огород моей матери... Мы в магазине овощи не покупаем — все свое.

— Ну что, поехали? Народ уже рассосался, — прервала их разговор Люся.

И они дружно направились через проходную на стоянку такси.

\*\*\*

Через неделю, пройдя медкомиссию, Николай с Любочкой вышли на работу. Николай концертмейстером на кафедре хореографии, а Любочка — методистом в деканат. Комнату получили в студенческом общежитии, на третьем этаже, где жили молодые преподаватели. Единственное окно выходило на опытное кукурузное поле сельхозтехникума. А за ним, насколько охватывал глаз, лежала нетронутая степь, раскинувшаяся до самого горизонта. По утрам, когда ветер бил в окно, комната наполнялась запахом пожухлого разнотравья. Любочке нравилось это дыхание сибирской осени, медленной и ненавязчивой. "В Осколе очень дождями нудит да туманами, — сравнивала она времена года, — здесь ни дождики, ни пылинки. Деревья до самых крепких морозов золотом листьев играют". Иногда ее тянуло побродить по окрестным степям, подышать морозным запахом трав, хоть на время забыть от жизненных невзгод...

...Николай быстро вошел в работу, и вскоре заведующий кафедрой хореографии Владимир Сергеевич сделал

вывод, что тот — музыкант от Бога. Спустя месяц, он освоил весь репертуар факультета, тем более, что большую его часть он знал еще по училищу.

Любочке же сначала все казалось сложным и непонятным. Появлявшаяся невесть откуда робость сковывала ее речь, притупляла восприятие новых обязанностей. Преподаватели годилились ей в отцы и матери, имели ученые степени и чувствовали себя вальяжно в общении с Любочкой, нередко назидательно воспитывали ее за тот или иной промах. Она внимательно выслушивала их, не всегда понимая, что они от нее хотят. И тогда старший методист Нина Васильевна, видя растерянность Любочки, пригласила ее в кабинет и участливо сказала:

— Я вот уже месяц наблюдаю за вами со стороны. У вас есть аккуратность, исполнительность, работоспособность, но нет опыта. Не тушуйтесь! Все преподаватели прошли через меня... Я их учила уму-разуму преподавательской практики. Они знают свой предмет, но в других делах — профаны. Мы же с вами знаем все, кроме их дисциплин. ...Значит, мы сильнее их... Хотя они солиднее нас с вами, но на занятия опаздывают, аудитории путают, а иногда и часы не все отдают... Следите и спрашивайте! Почем зря часы не ставьте... Есть среди них и выпивохи — скоро сами все узнаете... Но не лебезите — требуйте, не взирая на ранги... Почувствуют контроль — уважать станут, даже побаиваться... А ошутят слабинку — чехарда пойдет с учебным планом... Тут дело рублем пахнет...

Любочка с удивлением смотрела на свою наставницу, хрупкую интеллигентную женщину, и восхищалась ее твердым характером и редким даром доброты. “Другая бы проинструктировала, ознакомила бы со служебными обязанностями, а дальше — крутись сама, как хочешь. А Нина Васильевна после месяца моих мытарств возится со мной, как с несмышленишкой... Все объясняет, жизни учит... Нередко и зарвавшегося доцента на место ставит... Меня поддерживает... Сколько терпения у этой женщины... А интеллигентности! Вот бы мне такой стать”, — не раз думала она, наблюдая, как работает с бумагами, общается с преподавателями эта умная седовласая женщина.

А Нина Васильевна, видя медленно убывающую растерянность Любочки, быстро нашла выход из этой ситуации. Через день она принесла ей список книг.

— Любовь Дмитриевна, дорогая! Возьмите этих авторов в нашей библиотеке и вдумчиво читайте. В этом списке есть все, что необходимо вам сегодня, и то, что пригодится в будущем... На любой работе... Неясные ситуации я постараюсь объяснить. Поймете прочитанное, по-новому себя чувствовать будете, на мир будете смотреть другими глазами... А вообще, готовьтесь к поступлению в наш вуз... Пока дети у ваших родителей... Сейчас без высшего образования нельзя! Да и Николай Васильевич пусть поступает.

— Нина Васильевна, я же все забыла! Какой из меня абитуриент? После училища только и знала семейные заботы... Иногда жить не хотелось...

— Страх и апатия здесь ни к чему. Вы молоды, у вас все впереди... Научитесь ценить время — свое и чужое... Отыщете свой интерес в жизни — и все образуется... Только вам придется стать собранней и напористой... Совет даю проверенный...

...И закрутился у Любочки новый виток ее жизни. Снова были новый город, новая работа, новые люди, а главное, появился новый интерес в жизни.

\*\*\*

Через год они с Николаем стали студентами-заочниками своего института.

...А вскоре Семеныч привез к ним детей, погостил у Любочки, потом у Люси, проведая сватью. Несколько дней бродил один по родным местам неузнаваемо изменившегося города. Бродил с легкой грустинкой по берегу Томи, смотрел на дымящие трубы заводов, на посаженные кольцами деревья в скверах.

“Гляди-ка, как будто вчера здесь был. Столько лет прошло, а Томь бежит, как и бежала, завод дымит, как и дымил, — думал старик, вглядываясь в город. — До меня так было, при мне так есть и после меня так будет. А вот улицы помолодели высотными домами, кустарниками да деревьями... Зелень городу понадобилась, чтоб воздух чище был”. Шел Семеныч и восхищался. Нравился ему родной город, нравился чем-то особым, чего пока еще не понял Семеныч. Но в душе он уже затаил мысль о переезде сюда. Захотелось вновь ощутить сибирский простор, вернуть азарт молодости, какой он испытывал здесь до войны, ту прыть, с которой пылил он когда-то по этим улицам. Тем более, что недавно он получил в Старом Осколе четырехкомнатную квартиру, прописал Виктора с Зиной, взял по льготной цене (как ветеран войны) “Запорожца” и понял, что там его уже ничто не держит. А тут, в Сибири, есть еще две его кровинушки, Люся и Любочка, нуждающиеся в поддержке.

Ходил по городу походкой человека, попавшего в картинную галерею: идет, остановится, вглядится во что-то, голову чуть повернет, опять смотрит.

— Че-то я не пойму, растудыт твою мать! Тут же “Хлебный” стоял деревянный, а теперь пятиэтажка... А здесь было пожарное депо, а теперь... Не разгляжу, что написано... А... Школа...

Он шел по улицам, что-то узнавал, а что-то нет. То ли из памяти выветрилось, то ли это “что-то” изменило свой облик до неузнаваемости. Вот перед его глазами вырос сборный пункт облвоенкомата, откуда Семеныч уходил на фронт. Почти все осталось таким, как было в войну. Даже деревья еще живы. Вот только забор дощатый заменили на металлическую ограду да плац заасфальтировали.

Семеныч остановился, снял шляпу и долго смотрел сквозь решетку забора на плац, где делали переключку перед отправкой на передовую. “Сейчас бы сделать поверку, откликнулись бы единицы... Одних война съела, других — жизнь... Пусть земля им будет пухом”, — горестно думал Семеныч, вытирая ладонью вспотевший лоб. Расстроился вконец. Заныли ноги, зашевелился нерв в левом боку, разрушенный осколком, и он стал медленно оседать на бетонный фундамент забора. Семеныч всегда, как только вспоминал войну, начинал ощущать свою вину перед погибшими в том, что остался жив, хоть и ранен был, и контужен, и без вести пропавшим, и похоронкой отмечен. Да и в штрафбате побывал за свой колючий язык. Прошел все круги военного ада, но выжил и веру в жизнь не потерял. Видно, судьбе так угодно было. Судьба-то сохранила его, а вот в душе так и осталась до сих пор не понятная ему винов-



ность. Столько лет прошло, а душу по-прежнему будоражат воспоминания.

Присел, помахал шляпой в лицо, вытянул затекшие ноги: "Сейчас пройдет... Отдохну чуток и пойду дальше, — мысленно успокоил он сам себя. — Надо еще до своего гаража добраться. Может, кто знакомый еще работает... Хотя сорок лет прошло... Поди узнай..."

На него медленно наползала дырчатая тень деревьев, пряча старика от палящего солнца. Он ощутил накапывающую на него прохладу и возвращение бодрости в его уставшее от ходьбы тело...

... Через месяц он вернулся в Старый Оскол и стал уговаривать Анну Афанасьевну уехать в Сибирь. Жена отнекивалась, сетуя на возраст да на болезни. Но Семеныч, — человек упрямый, думал про себя, что через год-два он ее все равно уломает.

— Опять, Няся, сон снился, что подошвы от сапог отскочили. А это, ты знаешь, к переезду, — не раз намекал ей Семеныч о Сибири. — Я уже там и избу присмотрел с куском земли.

Анна Афанасьевна начинала плакать да причитать:

— Куда же ты, старый хрыч, от удобств бежишь? Ноги-то уже निकудышные... А ты все хорохоришься... Земли захотел... Вон в Хорошилове продают... И землю, и избы...

— Хорошилово от нас не уйдет... Спасибо за подсказку... Завтра с Витькой смотаемся... Посмотрим, что за деревня...

\*\*\*

А пока отец уговаривал мать ехать в Сибирь, Антон пошел в первый класс, Аленка — в садик, а Любочка стала подрабатывать в институте уборщицей. Крутилась, как белка в колесе. Вставала с гимном, шла в институт мыть полы, а к восьми утра возвращалась домой. Отправляла детей в школу и в садик, а в девять была уже снова на работе. Уставала, чувствовала, как тяжелеет ее тело, обрастая лишними килограммами. Нередко ночью давило сердце, задыхалась, будто от нехватки воздуха. В страхе, с большим усилием поднималась и садилась на кровать, хватая ртом недостающий воздух. Испарина обволакивала тело, превращаясь в липкий пот. А рядом как ни в чем не бывало похрапывал Николай.

К врачам она не обращалась, таблетки не принимала, даже когда давление прыгало за сто пятьдесят. На второй этаж в институте поднималась медленно, не раз останавливалась, чтобы перевести дух. Стеснялась она своей болезнью, появляющейся неповоротливости и медлительности. Но упорно не подавала виду, что ей тяжело. Да и работу не хотелось терять. Худо-бедно, но она с ней справлялась и все чаще получала похвалу старшего методиста.

Нина Васильевна сочувствовала Любочке, видя, как она страдает одышкой.

— У вас много лишнего веса. Это от неправильного обмена веществ. И сердце плохо справляется с нагрузкой. Я вас сведу с нашим тренером Юрием Яковлевичем. Он ведет группу здоровья. И, вы знаете, небезуспешно. По крайней мере, ваш недуг он в состоянии уменьшить. Так что настройтесь на занятия. Трижды в неделю... Спланируйте время, чтобы ни работа, ни быт не страдали. И без пропусков! У него все тренируются по системе. И результаты наяву!

Некоторые наши сотрудницы уже сбросили по восемь-десять килограммов.

Восприняла Любочка совет Нины Васильевны и стала учиться ценить время, заранее продумывать свои действия на каждый день. А забот прибавлялось. Антона и Аленку стала водить в кружок хореографии в профсоюзный клуб, где подрабатывал Николай Васильевич. Он гордился своей "халтурой". Благодаря хореографу Ирине Николаевне кружковцы давали блестящие концерты.

— Таких хореографов — единицы. Интересно с ней работать и мне, и детям. Хотя характер — не сахар. С детьми строга, но дело знает. На глазах растут дети! Чувствуется, что у нее мощная школа. А репертуар! Танцы народов мира! — не раз хвалил ее и себя Николай Васильевич. — Ей бы в институте преподавать. Но не хочет. Я, говорит, привыкла работать с детьми, а не с подростками, испорченными бездарными преподавателями.

— Ты прав. У нее действительно отличная школа. Заниматься у такого педагога — счастье.

Любочке нравилось, что Николая тоже увлекла работа, и он занимался с детьми и студентами с большим интересом. Эта увлеченность мужа отвлекала его от частых выпивок.

Сама же трижды в неделю водила детей на танцы, а три вечера занималась в группе здоровья. В выходные дни группой ходили в турпоходы. Любочка купила своим детям маленькие рюкзачки, бадминтон и мячик. И каждое воскресенье, если только позволяла погода, устраивала себе и детям маленький праздник на природе.

Юрий Яковлевич, тренер и вдохновитель, объяснял взрослым и маленьким туристам, как развить и сохранить выносливость, как быть оптимистом и лечить простые болезни.

Тяжело было Любочке поддерживать набранный ею темп жизни. Боролась с усталостью, с вечной нехваткой времени. Но уже начинала ощущать легкость в движении. А когда занялась ежедневными пробежками, то почувствовала куда-то давно запропастившуюся телесную легкость. Нередко после тренировок ей казалось, что она теперь может горы свернуть, а своей жизнерадостностью даже поделиться с другими. Юрий Яковлевич просил ее не форсировать тренировки, постепенно вводить себя в новый режим организации жизни. Уже через год начали "таять" лишние килограммы, сердце редко напоминало о себе, а Любочка могла спокойно сесть на шпагат. Тренер ценил усердие Любочки, четкость в выполнении упражнений и иногда поручал ей ведение занятий с группой. Она становилась спокойней, рассудительней и уверенней в себе. На пьяные "вывихи" мужа не обращала внимания, больше занималась собой, Антоном и Аленкой. Николай же все чаще и чаще вызывал у нее безразличие к нему. Он оставался ее мужем, но скорее мужем по паспорту. Ее остаток любви к нему стал без ее желания медленно растекаться по двум ручейкам, сливаясь с материнской любовью к Антону и Аленке. Она мудрее, чем прежде, стала оценивать свою любовь к нему и сделала вывод, что ее преданность, прощение его прегрешений никак за эти годы не отозвались в мужнином сердце. "Лишь один грех у меня есть по отношению к нему — это случай на Дунае. И то из-за любви к нему. Для его же благополучия предала я его. Предала, но не разлюбила. Его уберегла от неприятностей, сама же осквернила душу", —

нередко вспоминала она свою измену. Иногда у нее появлялась решимость разрубить одним ударом ту жизненную нить, которая связывала ее с Николаем. Но потом успокаивалась и как бы забывала о недавнем желании.

...Николай стал реже заглядывать в бутылку. Просто не хватало времени. Занятия в институте, "халтура", подготовка контрольных работ, участие в концертах не позволяли утолять хмельную жажду. Но уж в день полочки Николай Васильевич расслаблялся и дня три не выходил из запоя. Под полочку декан даже корректировал расписание уроков, которые вел Николай Васильевич. Ценили его на кафедре, как профессионала, закрывали глаза на его появления на занятиях "с бодуна".

Зато учеба у него шла легко.

— Ты бы и консерваторию потянул, — говорил Николаю Васильевичу заведующий кафедрой хореографии Владимир Сергеевич.

— Еще не вечер, — отвечал ему Николай Васильевич, — хотя в "консе" играть лучше меня не научат. Пить похлеще могут научить, а играть — нет. Вот этот ликбез окончу, а там видно будет... А вообще-то, одного высшего хватит на кусок хлеба и стакан водки. Я ведь сейчас почти не пью...

— Бывает, бывает, Николай Васильевич... Держись, держись, а потом, как шлея попадет под хвост, тут уж тебя ни один вожжи не удержат: сам несешься галопом на водкопой...

— Вы что, Владимир Сергеевич, в кавалерии служили?... Жаргончик у вас занятный...

— Да был в войну у Доватора, совсем мальчишкой... Лошадей люблю до сих пор. Ну, это к слову. А тебе, Васильич, мой совет: *остановись, пока не поздно*. Сгубишь ты себя водкой. Я тебе, как отец, говорю. На моем веку много буйных голов слетело с плеч из-за нее, проклятой... Да не только буйных, но и умных.

— Если бы я мог, Владимир Сергеевич... Силы воли не хватает... Пью-то уже не десяток лет, а полтора... Нутро уже без нее не может... Завишу я от нее, потому что водка сильней меня... И тут уже ни один врач не поможет... Поэтому, извините, жить буду, как живу... Хотя здоровье, чувствую, уже не то, что было...

...А тут снова печень забарахлила. Врач, посмотрев на "узи", сказал Николаю Васильевичу:

— Пьете? Печень посажена. Бросайте пить, иначе будет хуже... Да и поджелудочная воспалена... Выбирайте что-то одно: или водку, или здоровье.

Николай Васильевич удрученно, с застывшим где-то внутри страхом подсматривал за врачом, записывающим диагноз. Потом тот поднял голову и протянул ему рецепты.

— Здесь все расписано... Лечитесь, алкоголя — ни грамма... Через месяц покажетесь. Будет хуже — упеку в стационар.

Николай Васильевич вышел из поликлиники. Крупный снег бесшумно ложился на кроличью шапку, на плечи его "москвички". Опухший, с красными веками, он шел тяжелой походкой, стараясь не глядеть людям в глаза. Каждый шаг отдавался болью в правом боку. Во рту было сухо и горло.

"Сейчас бы пивка попить, — подумал Николай Васильевич, — сушняк убрать. Может, полегчает...". И он направился к пивбару. Шел и боялся. А вдруг кружка пива совсем завалит его, или боль прихватит так, что ни вздохнуть, ни

охнуть. Подошел к стеклянной двери и увидел табличку: "Пива нет". В душе даже обрадовался такому повороту событий. "Значит, не судьба", — вздохнул он и направился в аптеку.

...Болеет он редко, но когда такое случается, то предписания врачей выполняет аккуратно: по часам пьет таблетки, настой трав, регулярно ходит на процедуры. Но водку, хоть по чуть-чуть, пьет, чтобы "не потерять форму и лучше усвоить лекарства". От природы он наделен не только музыкальным талантом, но и крепким здоровьем, хотя с виду и не выглядит здоровяком. Между запоями занимается гантелями, которые ему подарили еще в армии, постоянно развивает кисти рук, разминая резиновый мячик. Он всегда помнит, что значат для музыканта руки. К пальцам у Николая Васильевича особое отношение. Он их просто холит, постоянно следит за ногтями, смазывает вазелином, чтобы мягче была кожа на подушечках, а малейшую ссадинку завязывает бинтом. Он называет свои пальцы "кормильцами", относится к ним с нежностью и заботой.

Он никогда не играет в прятки с погодой, не рискует прогуляться одетым налегке, а всегда одевается потеплее, как говорит "с запасом", рассчитанным на самую скверную погоду. Его природное здоровье и бережное отношение к нему обеспечило бы безболезненной всю его жизнь. Но водка и курево медленно делали свое скверное дело. Уже несколько лет он мается печенью, бросает пить, но, как только проходит приступ, снова возвращается желание выпить. На лице выступает чрезмерная желтизна и щеки прилипают к скулам. Глаза становятся меньше, проваливаются в глубь орбит.

Но когда месяц-полтора он обходится без запоев, то Любочка видит, как у него появляются аппетит, розоватость на лице, шея из мальчишеской становится мужской да и животик начинает давать о себе знать. "Значит, жизненные силы его велики, — думает про себя Любочка, — коль восстанавливается быстро. Видно, и печень еще не совсем подорвана". Она радуется в душе, когда муж трезв и у него проявляются, казалось бы, давно потерянные качества, которые так пленяли ее. Они проявляются, но вместе с трезвой дрянью, которая *нет-нет да и выплеснется наружу*. Придирчивым становится пуще прежнего. Все его начинает бесить, словно жизнь впервые видит. Уж тут достается и ей, и детям, и Люсе с Сашей, если подвернулись под руку! Каждого обзовет недобрым словом, даже Ирину Николаевну не пощадит. А словечки едкие да колючие, зато попадает ими не в бровь, а в глаз. Выговорится, а потом подойдет к Любочке, обнимет ее и ласково скажет:

— Все равно лучше тебя никого нет.

А Любочка посмотрит ему в глаза, помашет головой с укоризной.

— Ты бы об этом не забывал, когда пьешь. А то ведь слова доброго от тебя не услышишь... Я и такая, и сякая... И никто из мужиков на меня не клюнет... А у тебя, вроде, от женщин отбоя нет... Такие же, как сам, и попадают...

— Да ладно, Любок, не обижайся... Натура такая у меня... Чувствую, что чем-то обделен я в жизни... Видно, не надо было мне на свет появляться...

И он в расстроенных чувствах закуривает папиросу. Идет к открытой форточке и долго смотрит в окно на низко плывущие облака...

\*\*\*

...Не ругал он только соседку Веру Петровну, или просто Веру, высокую стройную девушку с длинной русой косой, работающую в учебной части института. Не мог он ее видеть без дрожи в теле.

Нравилась она ему не только своей красотой, но и приветливой улыбкой. Она всегда участливо относилась к своим семейным соседям. Иногда давала деньги в долг, когда бюджет Заречневых к концу месяца трещал по швам. Нередко по просьбе Любочки присматривала по вечерам за детьми, если супруги были заняты на работе. Николай Васильевич же, в свою очередь, помогал ей в домашних делах: то электроплитку починит, то книжные полки навесит, то форточку подгонит. А еще она ходила смотреть к ним телевизор, когда была интересная программа. Одним словом, жили в доверии друг к другу, даже ключами от комнат обменивались. А когда к Вере Петровне хотели подселить девушку-методиста, Николай Васильевич отстоял Веру перед деканом.

— Вера Петровна, может, не сегодня-завтра замуж выйдет. Попробуй-ка реши в таких условиях вопросы личной жизни.

Декан, седовласый, с большой прогалиной на голове, ответил:

— Была бы любовь — крыша найдется. Сам, помню, восемь лет по общежитиям скитался. Уже двое детей было, а все — в малосемейке. Когда же кандидатскую защитил, то тут уж трехкомнатную дали... Ладно, вашу просьбу я учту...

И осталась Вера Петровна жить одна в комнате, сказав Николаю Васильевичу спасибо за заботу.

Однажды летом Любочка с детьми уехала в пионерский лагерь, а Николай затеял ремонт комнаты. Шпаклевал, красил пол, чередуя работу с выпивкой. "Любочка с детьми вернутся только через три недели, так что по-любому успею", — думал Николай во время перекуров. Общежитие летом было полупустым, и только в некоторых комнатах жили преподаватели, которым некуда было податься или домашние заботы не позволили покинуть душный летний город.

Николай с утра сходил в магазин, взял кое-что из продуктов, с рук — бутылку водки (свои талоны уже кончились) и в добром расположении духа поднялся на третий этаж. В коридоре он встретил Веру Петровну с ведром помоев.

— Привет, Вера! Что, суббота чаеешь?

— Здравствуйте, Васильич! Уборку делаю.

— Помочь?

— Спасибо. Я уже заканчиваю.

— Вот и хорошо. Заходи ко мне посидим, покалякаем, покушаем. Я здесь кое-что урвал в магазине.

— Нет, Николай Васильевич! Другие дела поджимают, — ответила Вера, стеснительно запахивая халат на груди.

Русые пряди ее распустившейся косы свисали на лоб и щеки, наполовину прятали глаза, придавая лицу ранее не замеченную Николаем Васильевичем загадочность. "Эта ее расхристанность очень добавляет ей красоты. Ну прямо Марина Влади! А в институте она вся прибранная и какая-то незаметная", — соображал он и все смотрел на привлекательные, в меру полноватые, ноги.

— Красивая ты, Вера, черт возьми, а все одна. Куда мужики смотрят? — сказал он ей, не поднимая глаз.

А Вера, не обращая внимания на восхищение, повернулась и грациозно пошла по коридору, покачивая бедрами и чуть не выплескивая воду из ведра.

Николай быстро приготовил обед. Прежде чем жарить яичницу, он плеснул в стакан чуть-чуть водки, поглядел в него с отвращением, сделал на лице гримасу, словно от зубной боли. Первые глотки у него всегда шли тяжело: тошнило, выворачивало наизнанку нутро. Он кинул в рот кусочек сала, чтобы унять тошноту. Подействовало. Сел, отдышался и уже теперь почувствовал желание вылить. Полстакана выпил спокойно, без натуги и икоты. Глотая, он перестал ощущать в горле жжение.

— Слава Богу, восстановился, — обрадовался он.

Потом взял луковицу, поднес ко рту, но закусывать не стал. "А вдруг у Веры обломится, — подумал он и положил луковицу на стол. — Какие поцелуи с луком... Она от одного запаха сбежит".

Вообще-то с женщинами он вел себя деликатно. При знакомствах сыпал шутками-прибаутками, на которые был мастак. Потом вплетал в непринужденный, на первый взгляд, разговор пару-другую мыслей о любви из прочитанных книг, галантно, словно невзначай, целовал женскую руку, иронично глядя в глаза собеседнице. Быстро оценивал ее состояние по глазам и, если замечал в них интерес и доверие к нему, то считал, что поддела уже сделано. Потом предлагал ей тост "за любовь". А выпив, только что неподатливая, женщина становилась мягкой, как пластилин при лепке. Еще несколько слов о ее красоте, и Николай Васильевич уже сам начинал лепить ее мотив поведения, удобный для него.

...Пока пил водку за обедом, из головы не выходила Вера. Вот тут, совсем рядом, за блочной перегородкой, была она, много раз будоражившая его естество, когда заходила к ним в комнату по каким-нибудь житейским нуждам. Он весь преображался при ее появлении, даже стыдился, что опять "под хмельком", сразу прекращал ругань и даже теплел глазами. При Вере ему хотелось быть лучше, чем он есть. Любочка замечала эти перемены в его поведении, но все относил на его боязнь, что через Веру в институте узнают о его семейных скандалах. У соседки же он не вызывал никаких положительных чувств, лишь скрытое неуважение к нему да сочувствие Любовь Дмитриевне.

...Когда наполовину опустела бутылка, Николай Васильевич тяжело поднялся со стула, закурил и почувствовал в голове перекатывающуюся боль.

"Это от недопития, — подумал он, — отвык за три месяца от таких возлияний... Сотку не чувствовал, а полбутылки уже тяжко... Печень бы снова не всколыхнуть". Он в сердцах бросил в тарелку потухший окурочек и вытер полотенцем вспотевшее лицо. Покачиваясь, подошел к зеркалу, пригладил ладонью волосы и вышел в коридор. Долго не мог попасть ключом в замочную скважину, несколько раз стукнулся лбом о дверь, ронял ключ.

Вера услышала возню в коридоре и открыла дверь. Николай Васильевич стоял с закрытыми глазами, прислонившись к косяку двери.

— Ой! Это вы, Николай Васильевич! А я думала, кто это шебуршится у двери... Быстро вы успели наобедаться...

— Вера! Верунчик! Помоги мне дверь закрыть. Что-то у меня не получается, — открыл он глаза.

В коридоре, кроме их двоих, никого не было. Вера закрыла дверь и положила ключ в карман его пиджака.

— Не потеряйте... А вообще, лучше бы вы спать легли... Давненько я вас не видела таким...

И она зашла в свою комнату.

— Я к тебе, Вера.

— Нет, нет... В таком виде...

Она хотела закрыть дверь, но он уже успел переступить порог.

Вера стояла перед ним, скрестив руки на груди, и с упреком качала головой:

— Держались, держались и вот, издержались!

Николай Васильевич никак не реагировал на Верины слова. Он смотрел через ее плечо, обшаривая глазами стол, книжный шкаф и подоконник, на котором стояли картонные коробки. Потом вопросительно посмотрел ей в глаза и промямлил:

— Верок, все нормально... У тебя выпить есть... Ты же талоны получаешь...

— Даже если и есть, то не дам... Пока Любовь Дмитриевна вернется, вы с таким аппетитом дойдете до ручки... А ремонт стоит... Идите отдыхать...

И она указала ему рукой на дверь.

Николай Васильевич кивком головы согласился с ее жестом, развернулся и, подойдя к двери, шелкнул замком. Вера в испуге попятилась назад.

— Уходите вон, иначе закричу.

Он стоял к ней спиной, словно раздумывал, что предпринять. Потом оглянулся назад.

— Милая, не бойся. Я не груб,

Я не стал развратником вдали.

Дай коснуться запыхавших губ,

Дай прижаться к девичьей груди, — продекламировал он Есенина.

А Вера увидела его грустные трезвеющие глаза. Он неуверенно подошел к ней, взял ее руку и поцеловал. Вера молча согласилась с его галантностью. "Пусть душу отведет, может опомнится", — подумала она и предложила ему стул. Но Николай Васильевич и не думал садиться. Он понял, что с Верой не пройдет его накатанная, не раз оправдавшая себя тактика. Тем более что она не пьет совсем. И его "обольстительность" здесь равна нулю. "Может нахрапом попробовать", — мелькнула мысль. И он резко потянул Веру за руку на себя. Тяжело дыша, он обхватил девушку за талию и уткнулся лицом в ее грудь. Вера дернулась всем телом, пытаясь выскользнуть из его объятий. Его ослабевшие руки скользнули по бедрам, ощущая упругость ее ног и вызывая у него прилив хмельной страсти. Вера с яростью оттолкнула его, и он, споткнувшись о стул, упал на колени. А она, видя его пьяную беспомощность, ударила рукой по щеке. Николай Васильевич от неожиданности пошатнулся, заваливаясь набок, но удержался и остервенело посмотрел на Веру.

— Ты что, бля, делаешь? Шуток не понимаешь? Впервые такую вижу...

— Сгинь, подонок сучий! На любовь потянуло! Я жене все расскажу!..

Николай сидел на полу, уставившись стеклянными глазами куда-то в сторону, и будто спал, не реагируя на про-

клятия женщины. А Вера бледная, с дрожащими от волнения руками, открыла дверь и прошипела:

— Исчезай, а не то позову дежурную.

Николай встал на четвереньки, потом, цепляясь за стену, выпрямился во весь рост и зло посмотрел на Веру.

— А ты меня не пугай! Прижмет тебя — сама позовешь, а тогда я еще подумаю...

Потом, будто вспомнив о Вериной угрозе, пробурчал:

— А Любочке, между прочим, я обета не давал... Целую, Верок...

И он, пошатываясь, вышел в коридор.

По приезде Любочки из лагеря Вера, как бы невзначай, сказала ей о притязаниях Николая.

— Смотрите, Любовь Дмитриевна, у вас Николай Васильевич еще тот хлюст... Подкатывался ко мне по пьяни...

— Разве ты первая, Вера! Я уже не обращаю внимания на его блуд... Горбатого могила исправит... У него на все один ответ: "Я тебе обета верности не давал".

...Через полгода Вера уехала на специализацию в Москву, а присматривать за комнатой поручила Любочке. У Веры был запас талонной водки. "Мало ли что может случиться, — думала она, запасаясь водкой, — то батарея прорвет, то замок заклинит в двери, то пробка перегорит. По заявке ждешь — не дождешься специалистов, а за водку мигом сделают". Спрятала она ее надежно в шкафу, заложила сверху постельным бельем так, что комар носа не подточит. Да в комнате появился не комар, а Николай Васильевич, у которого на водку особое чутье.

Попросила как-то его хмельного жена сходить проверить Верину комнату. Пошел он без особого желания, но когда вошел, в комнату, его осенила мысль, а нет ли здесь выпить. И Николай Васильевич, быстро окинув взглядом нехитрую Верину мебель, сходу двинулся к бельевому шкафу. Он осторожно снял с полки охапку белья и увидел блестящие стволы бутылок. Сердце радостно затрепетало.

— Да здесь мне на месяц хватит позабавиться! — не без злорадства воскликнул он, потирая ладони. — А пока Вера приедет, потихоньку восстановлю недостачу.

Он зашелкнул дверь, достал из шкафа бутылку и дрожащей рукой плеснул в стакан. Водка от изобилия полилась через край по пальцам на стол. Он наклонился, вдохнул силовый запах, поморщился, отпил несколько глотков, осваивая притягивающее к себе зелье. Потом выдохнул воздух, чуть выждал и опрокинул содержимое стакана в рот. Волна обжигающего тепла покатила по горлу вниз, согревая дрожащее от возбуждения тело. Онпил чужую водку и не думал, что ведет себя как вор.

Когда Вера вернулась, то не нашла в своем тайнике не только водки, но и серебряной цепочки — подарка матери в день окончания института. Любочка была потрясена случившимся: стыдила Николая Васильевича, извинялась перед Верой, предлагала ей деньги, но та была непреклонной. Дело закончилось судом. Институт гудел, как улей, о случившемся. Николай Васильевич почернел от стыда, избегал встреч с Верой и в общежитии, и на работе.

Выяснилось, что цепочку взял Антон для расчета с молодым милиционером, который снабжал пацанов травкой-дурманом. Любочка возместила ущерб, но в милиции ее предупредили, чтобы она следила за Антоном, иначе мальчик скоро станет малолетним преступником.

\*\*\*

...Любочка металась от одного горя к другому, тащила на себе все домашние дела, но надежды на лучшее не теряла. Николай после суда стал меньше пить. Однако тревожил Антон, попавший в компанию трудных подростков. В школу, в танцевальный кружок он ходил с большой охотой, но тягу к "улице" не терял. Любочка внушала ему ежедневно о вреде наркотиков, о том, что пацаны могут втянуть его в какую-нибудь кражу. А потом его отправят в колонию, где не будет рядом мамы, сестрички, отца, не будет кино, танцев и мороженого. Он соглашался с ней, обещал не болтаться по чердакам и подъездам и не курить. После таких разговоров он несколько вечеров сидел дома, делал уроки, смотрел телевизор, короче был "паинькой", а потом снова исчезал по вечерам из дома. Опять нервничала Любочка, находила сына или в подъезде, или на чердаке в компании прокуренных юнцов. Нет-нет, да и сетовала на свою судьбу: "Что за невезение, — не раз думала она. — То одно, то другое. Мешают мне радоваться жизни то муж, то сын. Уже и в церковь ходила, просила Бога помочь, но, наверное, не дошла до него моя просьба".

Видно, на роду ей написано быть несчастливой. Не зря отец как-то рассказал ей, что в бытность ее совсем маленькой, через их городок, что на Черкасщине, проезжали цыгане. Дмитрий Семенович в подпитии побрел с Любочкой проведать кочевников "своих кровей" и бутылочку прихватил для встречи. Своим, в который раз, признали его цыгане. Весь табор всю ночь был на ногах. Костры жгли, пели да плясали в его честь. Погадали "на совесть", без вранья, все-таки свой брат — Семеныч. Удачливой отложилась его жизнь и на ладонях, и на картах.

А вот у Любочки будущее показалось туманным. Еще не совсем прорезавшиеся линии детских ладошек предвещали недоброе в ее жизни. Много смертей своих близких предстояло ей перенести в будущем, какой-то грех будет доветь над ней всю ее жизнь.

Отец о гадании не сказал никому, даже матери, чтобы не расстраивать ее. А много лет спустя, когда уже купил избу в деревне и сильно заболел, все поведал Любочке без утайки, помня каждое слово старой цыганки.

— Вот уже прошло с той поры почти три десятка лет... Правду ведь она сказала о твоей судьбе... Почти все сошлось тютелька в тютельку, — задумчиво говорил Семеныч, смахивая слезу. — Я все эти годы сверял цыганское предсказание с явью. Видел, как измывается над тобой судьба... Как по сказанному... Ну, скажу тебе — не падай духом. После сорока, говорила гадалка, у тебя жизнь пойдут на лад, хотя "даров судьбы" и там не избежать... Самое же страшное ты уже пересилила... У тебя сейчас появляются свежие жизненные силы...

Дочь сидела рядом с лежащим отцом и гладила его сморщенную руку. В голову лезли пугающие мысли о страшном роке, измывающемся над ней всю жизнь.

А отец, заметив испуг на лице дочери, успокаивающе засмеялся.

— Ну ладно, дочь! Ты это... не трусь... Может, зря я тебе душу защемил... Повернись к прошлой судьбе задом и иди своей дорогой... Сама по себе... И из головы выбрось... Человек, все равно, сильнее судьбы... Не живи предчувствия-

ми... Живи умом... Может, и обхитришь судьбу... А обхитришь — новую надежду увидишь... К ней иди напрямиком

Отец закурил, затаился, закашлялся, отчего лицо побагровело и покрылось капельками пота.

— Или табак хреноватый, или легкие уже задыхаются старости, — грустно посмотрел он Любочке в глаза.

Потом положил окурки в пепельницу, рукой чуть поднял подушку и вытащил сверток с деньгами.

— Вот тут, дочь, я каждому из вас собрал немного денег... Смотри, подписано... Любочке... Возьми, это твоя доля...

— Не надо, папа! Вам с мамой пригодятся.

— Матери я оставил... А мне они ни к чему... Да я и в жизнь особо не тянулся к деньгам... Это пенсию мне подсобрал... Вам помочь...

Любочка посмотрела в его теряющие синеву глаза и заметила привычного для них жизненного блеска. Впал щеки, укутанные седой бородой, казались дочери почти маленькими и неузнаваемыми. Заострившийся и бледным пятном лежал на лице.

"Не нравится мне его вид и настроение. Неужели не дожит?", — засомневалась Любочка, и слезы, дрожа, застели на ресницах.

Она отвернулась, чтобы отец не заметил ее слез, вытаращила украдкой глаза и как ни в чем не бывало наигранно село сказала:

— Сегодня должен Гришка приехать, а завтра — Люся. Может, вместе и хворь из тебя выгоним...

Отец посмотрел на дочь теперь уже радостным взглядом.

— А что это вы съезжаетесь все вместе? Будто сговорились... То годами ждем — не дождемся... А тут...

— Да просто отпуска совпали, — вывернулась Любочка. — Хоть раз все вместе соберемся, а то давно не виделись.

Отец горделивым хозяйским взглядом окинул свою ибушку, купленную год назад в деревне в двадцати километрах от города. Возился с ней не один месяц. Перекрыл, построил баню, огород довел до ума. А главное, обзавел друзьями. И бабы, и мужики часами сживали во дворе Заречневых, слушая байки Семеныча о жизни. Но не только сидели, а чем могли — помогали им встать на ноги. Деревня — не город, особых навыков жизни требует. Здесь люди возятся с хозяйством от зари до зари, особенно лето. С весны до зимы все в работе, но приветливости друг к другу не теряют, да и в помощи не отказывают. Не ждут просьбы помочь — сами видят, кто в чем нуждается. Церквушка деревенская сплачивает их, наставляет любить друг друга как Бог завещал.

— Ну как тебе наша хибара?

— Маленькая, но уютная. Видно, что руки приложили.

— Нам с мамой хватит... Что нам лошадей пасти в избе? А руки приложил — это точно... Выволок только хламу с двора несколько машин... Только куда же спать положу гостей?.. Может, к соседям?

— Ночевать будут в городе, у Зины. Гриша на машине увезет и привезет... Всем найдется место... Я уже с мамой говорила...

Скрипнула входная дверь. Вошла Анна Афанасьевна крынкой молока.

— Семеныч, бабка Мотя молоком угостила... Сейчас скипячу, да будем обедать, а то Любочка, наверное, прог-

лодалась... Христос справлялся о твоём здоровье, к вечеру обещал заглянуть.

— Христос, папа? А почему Христос?

— Христос, Любочка, забавный старик... Он бог в плотничком деле... Оттого и кличут его в деревне Христосом... По душе пришелся он мне, а я ему... Баньку варганить помогал. Я ему дубовый крест заказал... Загодя... Чтоб без единого гвоздя... Осколки в теле надоели... Обещал... Так что помни его обещание... Если что...

— Да перестань ты о смерти говорить, папа! Внуки есть... Надо и правнуков дожидаться.

Он виновато посмотрел на дочь и, словно извиняясь, ответил:

— До правнуков, наверное, не дотяну... А с внуками еще повоюю... И с Антоном, и с Аленкой, и с Данилкой, и с Люсиным сыном... Как его называли?... Забыл... А... Сережка.

— Доживешь, папа! Какие твои годы...

— Ну, ладно. Доживу дак доживу... Вон работы в огороде — уйма, а я отлеживаюсь... Картошка, лук как поднялись! У жизни, к солнышку тянулся... Картошку уже окучивать пора... А матери одной не под силу.

— Не беспокойся! Все сделаем. А по осени Витька с Зиной убрать помогут... Тут вам всем хватит и картошки, и лука, и помидоров. Подвальчик у них в гараже хороший... Витька хвалился.

— Эх, Любочка, ты же знаешь... Если бы мы с матерью не воевали, то ни этой квартиры, ни машины, ни гаража у них бы не было... Я почти за копейку их получил, как ветеран... И телефон поставили. Так что им не особо пришлось шевелить мозгами... Да ладно уж! Хранили бы да почитали то, что получили... А вот ты и Гришка начали жизнь семейную сами по себе... Мало мы вам помогли. Теперь жалею... Правда, и возможностей-то особо не было... Все своим горбом нажили...

— Не знаю, как Гришке, а мне-то помогали и словом, и делом... А сколько раз привечали меня на месяц-два, на полгода, когда некуда было приткнуться... Уж и не помню... Разве это не помощь? Да она нужнее всяких машин, гаражей, телефонов... И я это ценю по большому счету.

Семеныч внимательно и удивленно смотрел на дочь, соглашался с ее мнением и чувствовал, что она, несмотря на молодость, знает жизнь не хуже его и так просто уже не покорится судьбе, не даст больше себя в обиду, как бы ни морщижилась на руке линия ее жизни. И улыбка снова заиграла на его лице.

А Любочка, заметив радость отца, сказала:

— Вот, папа, кажется, первый раз в жизни мы с тобой «поговорили по душам». Раньше ты все отшучивался, отпускал в мой адрес шутки-прибаутки, пытаешься поднять мне настроение, когда мне судьба давала очередную оплеуху... Долго считал меня маленькой и горести мои маленькими. Не раз говорил, что мои неурядицы — пустяки в сравнении с пережитым вами.

Отец на минуту задумался, взвешивая сказанное Любочкой.

— Было такое... Было... Но душа у меня болит за каждого из вас... Гришка — тот мужик, ему легче, а вам... Но назойливым быть не хотелось... Считал, что вы грамотные, кумекаете кое в чем... Сами разберетесь в жизни... Но все ваши институты гроша ломаного не стоят... Жизнь сложней всяких наук... Вот и кувыркаетесь вы в ней, как клоуны

в цирке, а на ноги никак встать не можете... А это нас с матерью тяжело ранит... Мы ведь так хотим, чтобы вы жили лучше нас...

— Ничего. Не мы одни кувыркаемся... Весь народ кувыркается... После кувыркков устойчивей будем... А вы с мамой живите еще долго на радость нам... Вы уйдете — и распадется наше родство... Каждый станет жить сам по себе: и Зина, и Люся, и Гришка, и я... А это плохо...

— Иди, доченька, покушай! Да надо готовиться гостей встречать, — перебила их разговор Анна Афанасьевна.

\*\*\*

К вечеру приехал Гришка, утром — Люся с Сашей и Витька с Зиной. Загудела, словно улей, маленькая избушка. Закипела работа в огороде, во дворе. Семеныч вставал с постели, выходил во двор и часами сидел на завалинке, радуясь приехавшим детям и ласковому июньскому солнцу. Хворь постепенно покидала его уставшее от жизни тело. Анна Афанасьевна крутилась на кухне с утра до вечера, чтобы досыта накормить родную ораву. На ночь все гости, кроме Любочки, уезжали в город на ночлег, а утром снова появлялись в деревне. Пробыли дети почти две недели. Старики повеселели, чуть окрепли здоровьем, словно вдохнули бодрости от своих детей.

Однажды за ужином оклемавшийся отец сказал:

— Нравится мне здесь жить. И воздух чище, и люди добрее, чем в городе. Но хотим мы с матерью махнуть в Сибирь.

Любочка с Люсей переглянулись. А Семеныч продолжал:

— Побывать год-два в родных местах... Помочь кое-чем нашим сибирячкам... И Виктору с Зиной дать самостоятельность.

Дети недовольно зашумели.

— Папа, куда тебе с таким здоровьем? Да и у мамы давление... Мы уж как-нибудь сами утрясемся, — запретила Люся.

А Гришка по-военному четко сказал:

— Говорю вам, как майор. Отец для нас командир... Как решит, так и будет... Тем более, он и избу уже в Кемерово присмотрел. А эта пока будет Виктору и Зине вместо дачи...

Мать смахнула слезу. Ей так не хотелось покидать Хорошилово. К людям привыкла, к церквушке душой прикипела. Все престольные праздники посещает. А в городе, бывало, не всегда выберешься. До храма далеко. За жизнь свою, начиная с войны, она столько дорог исколесила, столько сменила городов и сел, что другим на такие дела двух жизней мало... А Семеныча цыганская душа все в кочевье тянет...

Отец виновато посмотрел на жену.

— Не плачь, Нюся... Я тебя уже второй год уламываю... Мы же ненадолго... Подышим Сибирью, внучат увидим... Может, удастся Любочке помочь с квартирой... Утрясем дела — и снова в деревню. Жизнь, как дорога, интересна своей новизной... Едешь по ней и не надоедает... А знакомая дорога приедается...

— Ты же знаешь, что один переезд сродни пожару. А сколько мы с тобой за жизнь таких пожаров пережили — одному Богу известно.

— Не волнуйся, Нюся! Голому собраться — только подпоясаться. У нас, кроме детей, никакого богатства-то нету.

Зятья молчали на семейном совете. Они почти одновременно кивнули на стоящие возле них рюмки водки, чокнулись и выпили, никого не приглашая.

— Вон свояки уже одобрили решение командира, — заметил Гришка. — Тягнули втихаря по стопке за успех дела и опять молчат.

— Да что говорить? Коль душа тянет — пусть едут. При них гляди и Николай может остепениться. Меньше в бутылку станет заглядывать, — ответил Саша. — Жаль, что его нет с нами...

На том и порешили — через год старики приедут в Кемерово. Приедут на время: без домашнего скарба, излишней суеты, как бы в длительный отпуск.

\*\*\*

...Прошло шесть лет, как Любочка и Николай приехали в Сибирь. Прошло быстро, как один день. Они закончили институт, дети ходили в школу. Антон в шестой, Аленка в третий. Дмитрий Семеныч и Анна Афанасьевна, как обещали, прожили в Кемерове три года, помогли Любочке вступить в жилищный кооператив, дали денег на первый взнос, дождалась, пока сладут дом, побыли у нее на новоселье да и уехали снова в Старый Оскол.

На кафедре Любочка стала уважаемым человеком. Нина Васильевна в душе радовалась, видя, как ее сотрудница уже освоила все тонкости учебного процесса, знала достоинства и недостатки каждого преподавателя, четко вела табели их выхода на работу и анализировала выполнение учебных программ. Прочтя кипу книг, рекомендованных Ниной Васильевной, Любочка втянулась в чтение, и оно стало для нее каждодневной потребностью. К ней пришла уверенность в беседах с преподавателями, изменился стиль речи, обогатился словарный запас.

— Ну вот, — не раз говорила ей Нина Васильевна, — теперь я спокойно могу уходить на пенсию. Вы вполне готовы заменить меня. Я уже предлагала вашу кандидатуру декану. Он одобрил мой выбор.

— Спасибо, Нина Васильевна, за доверие. Но как бы не пришлось мне отсюда уезжать. Из-за Антона. Портит его улица. Никак не могу вытащить из дурной компании. Думала, переедем в другой микрорайон — и он успокоится. Но пока без пользы. Дружки нашли его и там. Боюсь, втянут в какое-нибудь недоброе дело, потом не расхлебаетесь... Уже поставили его на учет в детскую комнату милиции. Отец с ним почти не занимается, а мои усилия не дают результата... Хореографию бросил, курит, грубит, домой приходит поздно.

— Да! Ситуация сложная, особенно в этом возрасте... Многие семьи вот так же потеряли своих детей... и девочек, и мальчишек... К несчастью, улица часто оказывается сильнее, чем родители... Я думаю, вы правы. Вырвать его из компании сможет только переезд в другой город. Хотя никто не гарантирует, что на новом месте снова не появится эта подростковая вольница... Только не торопитесь, обдумайте все еще раз... Занимайте свободное время Антона по максимуму... Может, все образуется...

Любочке хотелось верить, что пройдет год-два, Антон станет взрослее, и покинут его эта глупая мальчишеская

лихость, эта ложная романтика испытания себя на прочность в кругу своих сверстников. Любит ведь он ее сильно, даже к сестренке ревнует, помогает и в доме. Но с улицы приходит совсем другим, замкнутым, с виновато бегающим глазами. Отца не любит. Не любит за сквернословие, за окорбление матери и Аленки, и его самого. А отец придирчив в пьяном виде! Начинает воспитывать матерными словами, стучит его головой об стол, обзывает подонком. О наждах Антон не выдержал издевательств и, схватив утюг, угрожающе закричал:

— Если ты не прекратишь — я уйду из дома... А подрастай — я с тобой рассчитаюсь за все.

Николай Васильевич застыл от изумления. Таких слов он не ожидал от сына. Отец остервенело снимал с себя брючный ремень.

— Ты кому угрожаешь, сопляк? Родному отцу! Да я тебя в бараний рог сверну за цепочку, за курение, за твою бланую свору.

И он двинулся на сына. Любочка, вся в слезах, встала между ними.

— Прекратите! Я вас прошу!

Еле утихомирила их она на этот раз, но никак не смогла отношения между отцом и сыном...

\*\*\*

...А жизнь шла своим чередом. Люся по-прежнему работала в облисполкоме. Моталась по командировкам то в Новокузнецк, то в Киселевск, то в какое-нибудь Богом забытое шорское или телеуцкое село. И красот уже успела и посмотреться, и уродствам ужаснуться. По-разному живют люди: и убого, и богато, и добро, и зло. Многие в помощи нуждаются, но не просят, не молят о ней. Свыклись со своими бедами, словно приручили их к себе.

Должность у Люси солидная — ума, распорядительности требует. Она отвечает за городские и сельские Советы области. Люся знает, что жизнь людей во многом зависит от разворотливости городской и сельской власти. Вот и пытается она понять, сытно или голодно людям в районе теплом или холодом веет от душ людских.

Саша работает мастером по ремонту холодильных установок в торговле. В городе торговых точек сотни. За день столько вызовов поступит, особенно летом, что к концу рабочего дня он еле ноги волочит домой. Правда, работа у него бывает "с наваром". Завмаги никогда не оставляют без внимания Сашу: то добрый кусок мяса дадут, какого увидишь на прилавке, то тушку курочки без синего отлив то сахарку дефицитного подкинут. Одним словом, ноги после работы гудят, зато руки несут прибавку к домашнему столу.

А по праздникам Люся отоваривается в столе заказов. Наборы продуктов специально готовят для исполкомских. Там и сырок голландский, и пиво чешское, и краб черноморские, и колбаска копченая. Праздничный стол есть праздничный стол. Сына забирают у бабушки, угощают вкусными конфетами, читают ему сказки и водят на прогулки по городу. Сережке не нравится такая смена обстановки, поскольку он больше привязан к бабушке, чем папе и маме, и без особого восторга воспринимает прогулки "под конвоем". Не привык он к окрикам: "Туда нельзя! Это не трогай! Не испачкай руки!" У бабушки во дворе да

огороде он сам себе хозяин. А тут дом большой, двор тоже, люди спуют туда-сюда, а куда маленькая душа желает, не пойдешь. Мама с папой за руки держат.

Но праздники бывают редко. В выходной, если Люся дома, навешают вдвоем Сашину маму и Сережку. Продукты везут старушке да гостинцы сыну. Люся в женских делах ей поможет, а Саша — в мужских. А иногда и вдвоем делают одно дело. Правда, женских дел меньше — мать еще сама прыткая, а вот мужских — невпроворот. Вот Саша и занимается ими. Дровишки колет, забор чинит, телевизор настраивает. А по весне начинается огород. Огород-то всего соток десять, а возни с ним с мая по октябрь. Зато свои и картошка, и огурчики, и помидорчики. А малина — залюбуешься.

...По-хозяйски заложив руки за спину, ходит Саша по огороду, горделиво поглядывает на пересаженную клубнику, на обновленные грядки с луком и чесноком, на парничок с рассадой помидоров. Гордится, что у матери огород лучше, чем у соседей. Незлобивый он, характером своим хорошо управляет, со всеми ладит. Однажды соседская Лайка сорвалась с цепи, перемахнула через забор и набедокурила на материнном огороде. Саша приехал и увидел расстроенную мать и несколько сломанных кустов помидоров. И мать, и он сам положили немало трудов, чтобы рассада прижилась после парника. Ни один кустик не увял, не пожелтел — всем пришлось по душе свежая земля. И вот, на тебе, пес проклятый подкузьмил. Саша обнял мать, прижал к себе и сказал, глядя в глаза:

— Не огорчайся, мама! Рассада есть — пересадим. На соседей не гневись! Не собак надо бояться, а людей, если они ведут себя по-собачьи.

Он задержал взгляд на соседском огороде. После вчерашнего дождя земля на грядках и в картофельных бороздках казалась черной. Сравнил со своим и подумал о матери. Как она холит эту землю! Перетряхивает ее, перелопачивает, навоз ведрами разбрасывает по всему участку. Потом снова копает, но уже с навозом. А на грядках земля словно пух. Сам готовил! Воткни полено в эту землю — и то листочки выпустит.

Стоя у решетчатой изгороди, Саша был доволен, что ливень ночью прошел обильный и снял с него хоть одну заботу с поливкой. Потом подошел к куче колотых дров, промытых дождем, и пожалел, что не сложил их в поленицу. "Кто знал, что ливень будет. Поленился сразу дрова сложить, — молча укорил он себя. А потом успокоился. — Лето длинное — высохнут".

Из избы вышла мать с Сережкой.

— Давай, сынок, мы тебе подсобим.

— Не надо, мама. Я сам управлюсь. Мой грех — мне его и отмаливать.

— Да не торопись, Саша, отдохни. На работе, видать, намаялся. Далось оно тебе, мое хозяйство.

— Мне эта работа в охотку. Да на свежем воздухе — прелесть. А зелень мне душу радует. Посмотри, как все пошло вверх.

Мать Саши, Василиса Ивановна, чуть выше сына, широкая в плечах, худая и сильная. Через три года после рождения Саши она овдовела. Муж ее работал электриком на анилиновом заводе и погиб на смене по пьяному делу. Вот и пришлось ей одной, двадцатипятилетней, и Сашу поднимать, и дом, и огород обихаживать. Все сама, все своими

руками: и гвоздь вбить, и дров наколоть, и огород вскопать, и кондуктором на трамвае смену отстоять.

Поэтому с детства приучала Сашу к самостоятельности. Уже в десять лет он тянул всю мужскую работу в доме, да и женской не чурался, если мать была на "железке", а у него еще доставало сил. В школе звезд с неба не хватало, учился средне, но был дотошным в истории и литературе, хотя потом его потянуло на технику, и он стал специалистом по холодильникам.

...Саша смахнул рукой пот со лба, достал папиросу и присел на вымытую дождем табуретку.

— Не садись, Саша! Сыро. Сейчас я принесу старую одежку.

— Не надо. Табуретка подо мной высохнет.

Но Василиса Ивановна вынесла из сарая фуфайку и протянула ему.

— Накрой табуретку. Теплей будет.

А Сережка уже держал в руках маленькую лопаточку и маленькими шажками пошел по дорожке на огород.

— Эй, колхозник, стой! Туда сегодня нельзя. Там грязь.

— Папа, я хочу копать... Мне бабушка разрешает.

И он с надеждой посмотрел на Василису Ивановну.

— Сережа! Сегодня не разрешаю... Там сыро... Ножки промочишь... Играйся здесь, во дворе...

Внук нехотя развернулся, захныкал и возвратился во двор.

— Лучше играй вон со своим грузовиком, а в огороде завтра будем работать... Земля чуть просохнет... Или папе помогай дровишки складывать.

Она обняла подошедшего внука, поцеловала и достала из кармана передника батончик...

— Кушай, внучок! Это папа привез.

Сережка обрадовался угощению, ловко развернул обертку, и шоколадка исчезла во рту. Он успокоился, сказал бабе "спасибо" и направился к своему грузовику.

— В кого он такой? Бывает временами капризный и упрямый... То ли в деда пошел, то ли в папу.

— Это пройдет, мама. Я читал, что в этом возрасте все дети такие. Старше станет — образумится.

— Дай Бог, Саша, чтобы прошло... А то ведь через год в школу... А как там сваты? Пишут?

— Пишут, но редко... Люся занимается письмами... Собираются осенью приехать... Пожить здесь года два-три...

— А Любочка как? Что-то давненько сюда не заглядывала...

— Да по-всякому... Уже институт закончили... Дети в школу ходят... Все, вроде, ничего... Да вот Николай попишет... Держится месяц-два, а потом — запой... Уже и мы с Люсей его воспитывали, но толку нет... Все домашние дела на Любочке... Да еще и на двух работах вертится... И все успевает... А нормальной жизни нет... То Николай, то Антон ей душу мотают. Но она с характером... Другая бы уже свихнулась, а эта — и в спортзал ходит, и книги читает, и турпоходы не пропускает... Будто семижильная...

— Не завидую я ей... Когда в семье муж пьет — ладу не жди... Отец твой, царство ему небесное, был не лучше Николая... Плохо кончил... За тебя я до сих пор боюсь, чтобы в выпивку не втянулся...

— Не надо, мама! Торгаши все пьют, а я обхожу их компании стороной... А выпить — возможность есть каждый день...



Василиса Ивановна с удовлетворением посмотрела на сына.

— Ну ладно! Пойду обед готовить... А ты уж не надрывайся... Бери охапки поменьше... Успеется... До зимы еще далеко...

...А зимой, дома, долгими вечерами читают книги. Люся — на диване, Саша — в кресле. Даже телевизор им не мил — так любят чтение. Читают допоздна и засыпают с книгами. Кто первый проснется, тот и будит спящего, будильник заводит на семь утра, чтобы не проспять на работу.

Иногда в выходной, вернувшись от матери, берут бутылку водки и ужинают вдвоем, потягивая по рюмочке да философствуя о жизни или о прочитанных книгах.

Люся как филолог, держит себя постоянно в форме, следит за новинками литературы, а Саша — весь в детективах. Сименона читает быстрее, чем тот пишет и издается. Люся же Астафьева, Распутина да Белова штудирует от и до, Ходасевича да Андреева для кругозора...

У нее нет любимых писателей, у нее есть любимая литература.

Саша, чуть заикаясь, особенно после рюмки, начинает спор первым.

— Люсь, а как ты думаешь, кто из нынешних корифеев станет классиком при жизни, как Шолохов.

— Я думаю, Астафьев. Ты помнишь “Последний поклон”, “Царь-рыбу”, рассказы? Там почти все о Сибири. А язык? Прелесть! Проза льется, как музыка.

— Читал. Нравится. Ну у него есть кое-где налет дубочного, патриархальщины веет. Неужели ты не заметила?

— Заметила. Но ты пойми, что каждый человек живет прошлым. Там его история, там его молодость, наконец, там его жизненный опыт. Хорошее или плохое это прошлое — для человека неважно. Боль одинаково гложет душу и об ушедших радостях, и о допущенных ошибках. О безвозвратном скорбит душа. Так и Астафьев свою скорбь выливает на бумагу, но эта скорбь светлая.

Саша сжимает губы, потом вытягивает чуть-чуть вперед — дает понять Люсе, что не согласен с ее суждением, но затем успокаивается, ощущая отсутствие в данный момент у него аргументов, и говорит:

— Давай, Люся, за классиков! Они тоже были не дураки выпить.

— Да и поесть, особенно Дюма, — добавляет Люся.

И они, хлебнув по рюмке, не спеша, с молчаливым раздумьем закусывают хрустящими огурчиками.

Саша включает телевизор и начинает комментировать программу “Время”.

— Ты слышишь, твои партийцы опять проморгали Чернобыль. Дров наломали на всю Европу. Р-радиация — это же Хиросима.

— При чем здесь коммунисты? Преступное разгильдяйство, а беда только начинается... Страшно подумать о последствиях... Может, еще обойдется... Ученые головы в ужасе... Никто не знает, что предпринять... У нас уже набирают добровольцев.

— Да брось ты, Люся, защищать свою партию... Меченый доведет страну до ручки... Запомни мои слова.

И дальше программа “Время” идет мимо них. Теперь спор идет о политике. Сначала спорят вежливо, терпимо друг к другу, но затем страсти накаляются до предела. И только очередная рюмка охлаждает их пыл.

Потом Саша с недовольной миной на лице надевает свой видавший виды халат, берет в руки книгу и, убаюканный чтением, засыпает в кресле, по-детски поджав под себя ноги. Люся же, убрав со стола и приняв душ, включает ночник и будит мужа. Тот спросонку оступается и стучается лбом о дверь, в сердцах матерится, потом успокаивается и умиротворенно укладывается на кровать. Люся ложится рядом, желает ему спокойной ночи, нежно целует и засыпает, довольная прошедшим днем.

\*\*\*

...С Люсей видится Любочка редко. Больше по телефону общаются. Но иногда она приезжает сама или с детками на часок-другой. Посмотрят сестры друг на друга, посудачат о жите-бытье, да опять на месяц расстанутся. У каждой времени в обрез, так что тратить его на пустые дела просто грех. А душу друг другу иногда излить полезно, чтобы не переполнялась она до краев от пережитого.

На работе у Любочки главный советник и консультант по жизненным ситуациям Нина Васильевна, а вне ее — сестра Люся. Правда, она не столько советник, сколько родная душа, по которой Любочка проверяет свои выводы и суждения, если сама в чем-то сомневается. Она все время пытается развязывать вновь и вновь возникающие узелки на тонкой нити ее семейной жизни.

— Ты знаешь, Люся, я на жизнь не жалею. Кто-то из умных людей сказал: “Жизнь не может быть настолько тяжелой, чтобы ее нельзя было облегчить своим отношением к ней”. Так вот, я и вырабатываю свое отношение к жизни. Все, что происходит со мной, я воспринимаю как опыт. Книжки и люди научили меня мыслить самостоятельно и решать жизненные задачки. Мучаюсь и страдаю, но несчастной себя уже не ощущаю, чувствую в себе прилив свежих сил и новых мыслей. Теперь я знаю одно: надеяться можно только на самое себя. От мужа же нет ни помощи, ни совета.

— Ну ты, сестрица, молодец! Как ты стала грамотно мыслить. Я рада за тебя! И огорчена. Ты стала сильной женщиной, а с мужем никак не совладаешь. Сколько ты будешь терпеть его хамство? Через три-четыре года твои дети станут взрослыми... Наверное, уже сама довела бы их до ума...

— Все это так. Но одной остаться очень страшно. Особенно в моральном плане. Когда женщина остается одна, то все начинают смотреть на нее другими глазами. Каждый встречный начинает строить догадки о ее ушербности... Меня возмущает то, что я должна принадлежать ему, как какая-нибудь вещь... Он это хорошо усвоил... А вещи, когда наскучат, выбрасывают на свалку... В этом он чувствует свое превосходство... Не раз говорил, что такая, как я, обезьянка, никому не нужна... Мол, держись за меня, пока я терплю...

— А ты сделай так, чтобы он почувствовал себя вещью... Хотя по жизни мужчина более свободен в любви, чем женщина... Но ведь ты сама дала ему эту свободу... Свободу лить, изменять, сквернословить и унижать себя почем зря... Все мы, женщины, смотрим на измены мужей сквозь пальцы. Мужья же нам такое не прощают... Я думаю, если он и она не нужны друг другу, то зачем им жить друг с другом... Тогда не будет и измен... Хотя, может, я ошибаюсь... Но изменить можно своим принципам, но не мужчине или женщине... Если он ушел к другой, значит, ты ему не нужна... Что же тогда возмущаться, переживать, обвинять это-

человека? Можно ли заставить одного человека жить с другим? Если бы мой Саша выкинул что-нибудь подобное, ты рассталась бы без сожаления.

— Это ты говоришь так, пока жареный петух не клюнет... А как же, Люся, твоя любовь к нему? Значит, ты теряешь свою любовь? А это такая душевная боль, что не каждый ее перенести может... Это надо испытать, прочувствовать... Словами здесь не скажешь... Хотя Николая я уже давно не ревную.

— Что такое любовь, так до сих пор никто и не понял... Баба пока человеческая мудрость, чтобы ее понять... Кое-то называет любовь одной из человеческих страстей, которыми насыщена наша психика... Из-за любви гибнут люди, подавались в рабство целые народы, велись войны...

— Это история. А в частной жизни любовь заменяют другие страсти и привязанности, менее романтические, но более реальные и суровые. Они поглощают и растворяют в себе любовь, обесцвечивая или уничтожая ее суть.

— Да, Любочка, начиталась ты книг... Целую теорию извела...

— Не в книгах дело. Поживешь с семьей с мое, по-другому рассуждать станешь. Я уже несколько лет ощущаю, как рассыпается моя жизнь... Рассыпается осколками, которые я не успеваю собирать и склеивать... Видишь, атрибуты благополучия уже есть: институт, квартира, двое детей, любимая работа... А радости они не вызывают, за исключением Аленки да работы... Душа постоянно в тревоге, жажда и пытаюсь казаться спокойной... Николай нервы мочет, а теперь и Антон... В институте мне сочувствуют, что живу с алкоголиком. А разве он такой один? К концу занятий бродят они по коридорам, как тени... А ректор прощает им... Специалисты классные...

С балкона возвратился Саша с Любиными детьми.

— Наговорились? А из зоопарка сбежал бегемот... Во дворе милиция шастает... Следы ищет... Видно, жара доконала его в загоне, вот он и дернул в какую-нибудь городскую лужу или в Искитимке уже плавает. Домой будете идти — смотрите в оба, чтобы не напал.

Аленка и Антон с надеждой посмотрели на маму, словно она сможет их защитить от африканского зверя.

А Люся сказала:

— Своди их, Любочка, в зверинец, а то он скоро переезжает в Новокузнецк. Мы Сережку уже водили... Глазенки старался и ни разу не моргнул от удивления... От обезьян тебе увела, даже расплакался от обиды. А бабушке дня три рассказывал о зверинце... Жаль, бегемот исчез... Да найдут такую махину... Кемерово — не джунгли.

Саша обнял Люсю за шею, подождал, пока она закончит зверинце, заглянул ей в глаза и прошептал:

— Соловья баснями не кормят — не бегемот. Угощай бедом гостей, а то хозяин есть хочет.

— Ой, и правда, заговорились мы с тобой, сестрица, а ребяташки уже, наверное, проголодались...

Уходили домой к вечеру. На город опускалась прохлада. Солнце ушло за горизонт, а в воздухе ощущался дневной зной. Автобусная остановка была безлюдной, а рядом в сверке прогуливали собак.

«Боже мой, — подумала Любочка, — живут же люди безбодно, коль на собак еще время тратят. А мне завтра снова в шесть утра подъем, в девять быть у декана, в четырнад-

цать — в зверинец, а в семнадцать — Аленку на танцы, в девятнадцать — самой в спортзал».

Подошедший автобус прервал ее размышления...

...Николай был дома и на редкость трезвый.

— Почему вы допоздна шляетесь?

— Да были у Богачевых... Все живы-здоровы. Боялись пропавшего бегемота.

— Недавно мужик из соседнего подъезда сказал, что уже нашли его в Искитимке... По телевизору объявили... Кушать будете? Я тут макароны сварил.

— Нет, мы поужинали... Может, чаек будете, детки? — спросила Любочка.

— Нет. Мы моем ноги и ложимся спать. Завтра пойдем в зверинец, — ответил по-взрослому Антон.

...Когда дети улеглись, Любочка сказала Николаю, что сегодня звонили из детской комнаты по поводу Антона:

— Играет в карты на деньги. Вытащить его из этой трясины может лишь переезд в другой город. Он уже три года ходит по лезвию ножа. Кое-кого из их компании уже отправили в колонию... А тебе за пьянкой некогда сыном заняться... В институте встретила на заочном студенток с Таймыра... Предлагали работу в одном городе недалеко от Норильска... И с жильем обещают помочь... И тебе работа есть. Кстати, Ирина Николаевна тоже едет на Север... Там открывают хореографическое отделение. Как ты думаешь? Поедем... Иначе Антон здесь пропадет.

Николай молчал, а Любочка методично на него наступала.

— Даже если ты не согласен, то все равно тебе придется ехать. Ты ведь никогда в жизни не переезжал на новое место по собственному желанию... Все время тебя обстоятельства вынуждали, в которые ты попадал по своей же вине... А урон несла вся семья... Теперь уже я принимаю решения... А ты подчиняйся... И запомни: так будет всегда... Надоело... Иметь мужа-нахлебника, а не опору... Ты только потребляешь, а не отдаешь... Мы уедем, если даже ты не поедешь.

Он ничего не ответил... Он испугался небывалого натиска жены, ее укоров и предупреждений. Он понял, что его роль главы семьи, так и не начавшись за последние шестнадцать лет, закончилась...

...Николая проводили в августе. Любочка, собрав контейнер, сдала свою квартиру молодой семье и в октябре прилетела с детьми в Заполярье.

*Продолжение следует.*

## Юрий МИРОНОВ

Родился в 1940 году на Ярославщине.  
 Прожил десять лет на Таймыре.  
 Автор поэтических сборников "Первый поезд",  
 "Гулкие параллели", "Сила Севера".  
 Член Союза писателей России.  
 Живет в Николаеве.

### В ТАЙМЫРСКИХ ДАЛЯХ

#### Картины северной жизни

##### Повесть

(Продолжение. Начало в альманахе "Полярное сияние-97")

#### 2.

Большой Никифор проснулся от резко усиленного шума пурги, студено дохнувшей прямо в лицо. Обдало и зольным запахом костра.

На костер первоначально и взгляд обратил: огонь едва теплится, угли по краям припушены сизым пеплом — это то пепельный покров и срывало с углей мечущимся по чуму ветром, и смешивало пепел с такой же невесомой снежной мелкотью, тоже почему-то крутящейся в чуме. А сам чум дрожал, как напряженный парус.

Большой Никифор поднял голову — все стало понятно: верхние нюки сорвало, в образовавшейся дыре надсадно выла черно-белая крутоверт.

*Дудинка. Дом Никифора Бегичева*

#### I

Оставаясь дома наедине с самим собой, Никифор Алексеевич Бегичев любил посидеть в своей каюте — так он называл небольшую кухню: сядет за кухонным столом возле окна, выходящего на Енисей, и глядит на широко распластанную реку, и вспоминает что-то, и о жизни своей думает...

Набиралось таких минут за год не так уж и много, если, конечно, не считать зимнюю пору, промысловую, — тогда время для размышлений тоже бывает. Но одно дело сидеть возле печки в нартяном чуме, когда вокруг его тонкослойных стенок мороз да пурга, да немереная тундра, и совсем другое дело, когда сидишь в уютной рубленой избе, когда телом и душой чувствуешь отдохновение от трудов праведных — сам себе гость, сам себе хозяин. И на этот раз Никифор Алексеевич ощутил нечто подобное.

Анисья ушла к Пуссе — обещал продать соли да крупы. Старшая дочка с матерью увязалась, младшая спит, а сам посидел, поглядел в окошко на Енисей — могуч батюшка... Течет, поголубел... Да и пора уж ему да небу поголубеть-

прояснить, июль ведь начался. И вспомнилась Никифору Алексеевичу флотская служба...

Поднялся, вышел из кухни в комнату, подошел к жестяному сундучку, приобретенному еще во времена службы, откинул крышку... Взял награды... На широкой, вместительной ладони Бегичева заблестело серебро и золото: серебро — Георгиевский крест четвертой степени — награда за спасение миноносца "Бесшумный" в 1904 году, Порт-Артур; золото — медаль Академии наук — за спасательную экспедицию, Ледовитый океан, поиски "Земли Санникова"...

Стоял Никифор Алексеевич над сундучком, широко расставив ноги, глядел на дорогие награды и, покачивая их на ладони, как бы взвешивал их тяжесть — не в граммах, а ту тяжесть, с какой они ему дались... Постоял, посмотрел и, бережно завернув в мягкий лоскут, положил на прежнее место, в сундучок. Но не отошел, а извлек из него другое золото-серебро: часы и портсигар, подаренные командиром "Бесшумного". Надпись на часах прочитал вслух:

— "За труды во время войны", — прочитал и вздохнул. — Да-а!..

Перевел взгляд на висевшие над сундучком поблекшие от времени фотографии.

На одной — парусно-паровое трехмачтовое судно... "Герцог Эдинбургский"... На этом лучшем учебном корабле Балтийского флота, он, сын простолюдина, заслужил унтер-офицерский чин и где только ни побывал тогда — за последние пять лет девятнадцатого века. Германия, Швеция, Франция, Канада, Южная Америка, Алжир, Португалия, Италия, Азорские острова, Крит... Сколько лет прошло! Вот уж и двадцатый год двадцатого века на вторую половину перевалил, а и теперь слышится звук дудки боцманской и утренняя команда вахтенного: "Вставать! Койки вязать!"

На другой фотографии судно тоже трехмачтовое, но маленькое — бывший китобойный барк, купленный в Норвегии и переоборудованный затем для экспедиции Эдуарда Толля — для поисков этой загадочной "Земли Санникова". И это судно, ставшее яхтой "Заря", было после службы на "Герцоге" новым домом боцмана Бегичева на несколько лет... Печальная экспедиция... Сначала искали во главе с Толлем "Землю Санникова", а затем пришлось разыскивать самого Толля... Никифор Алексеевич, глядя на эту фотографию, перенесся на двадцать лет назад и на три тысячи верст от Дудинки — в Петербург, на Царскую пристань, возле которой "Заря" тогда стояла, готовая двинуться в арктическое плавание к неведомой "Земле", перенесся в тот день, и сделал глубокий вдох, и ощутил даже те запахи — краски свежей и смолы. И увидел камергеров в золотых мундирах и треуголках, и греческую королеву Ольгу, и репортеров — всю многокрасочную, многочисленную, многоязычную свиту, посетившую "Зарю" — шхуну, уходящую в дерзкое путешествие... Но свита — это так... А как млело сердце от счастья, когда уходили из Кронштадта и провожал их сам адмирал Макаров, когда в честь отплытия маленькой шхуны бабахали береговые орудия и корабельные — "Герцог" тоже салютовал, — и матросы военных судов кричали "ура!". Да, все это было. А после были долгие рискованные будни... Все было. Только "Земли" той, санниковской, так и не оказалось... "И все ж таки не зря я на "Заре" плавал, не зря ту землю искал", — заключил Бегичев.

На третьей фотографии — миноносец “Бесшумный”. Но, переведя взгляд на этот снимок, Никифор Алексеевич увидел не корабль, а черный шар возле него — мина... Странно: вроде бы должен был запомниться взрыв, а запомнился миг перед ним — большой черный шар у борта. Как спускался в кочегарку, вода как в нее хлестала, как пластыри накладывал с помощью товарищей своих — это все в памяти тоже осталось, но с годами словно дымком подернулось. А мина... так и покачивается у самого борта... С тех пор и Смерть представляется не простецкой старухой с косой на плече, с обиденным “ну вот я и пришла”, как в сказках говорится, а хитроумной штукой, придуманной самим же человеком.

Никифор Алексеевич достал, из сундучка же, несколько тетрадей, погладил толстым пальцем подбородок, уже освобожденный к этому времени от зимней бороды, еще раз взглянул на фотографии настенные: “Каждая — по целой жизни. А до этих фотографий мало ли чудес было, а после их... Это скоко же я жизней-то прожил?... Да, брат ты мой!.. А ведь в феврале токо сорок шесть стукнуло”.

С тетрадями в руке он направился на кухню, сел за стол, а взгляд притягивало окно... В Енисей будто еще синьки добавили... Кабацкий остров тоже начинал приукрашиваться, посветлел, позеленел малость. И Никифор Алексеевич сам себе объяснил: “Потому вот мне и полюбилось это место у оконца, — на реку оно... Течет она вплоть до моря-океана, просторная такая — глядишь, и на душе вольготно так... А я люблю простор, без колготни всяческой. Потому и в городе не по мне. На ходу подметки рвут...”

Взял одну из тетрадей, открыл наугад, почитал свои записи и, качнув головой, улыбнулся... На раскрытой странице описывался греко-турецкий конфликт, в разрешении которого принимали участие эскадры европейских государств: “...В 1898 году на Крите была резня между греками и турками. Мы посадили на свое судно турецкого пашу и его двенадцать жен. Паша был черный, как негр, очень высокого роста и статный. Посадка происходила в сильную погоду, но все ж таки когда принимали на трап жен паши, то мы велели им снять повязки, чтобы посмотреть их в лицо. Они не протестовали в том, что мы их смотрим, и только смеялись...”

А дальше уже об Италии шло: “К нам наехало на лодках много музыкантов, и они все время играли вокруг судна на скрипках и мандолинах. В Неаполе мы стояли недели две, ходили в город несколько раз, были в театрах, музеях, ездили в Помпею и на вулканическую гору Везувий. Сам город Неаполь красивый и веселый. Расстались с Неаполем, то есть остались без денег, и пошли в Англию”.

Прочитав запись о Неаполе, Никифор Алексеевич еще раз головой качнул: “Было времечко. И сам был — што твой паша... Двадцать четыре годочка от роду было”.

Некоторые страницы перелистывал, лишь мельком на них глянув, на некоторых взгляд задерживался, но ненадолго. А дошел до страниц об арктической экспедиции на “Заре”, и листание замедлилось...

При чтении записи о зимовке во льдах на лбу появились складки: “...Командир уехал в экскурсию вокруг Котельного острова. Остался за командира Колчак. У меня с ним вышла сцена... Выходит он из кают-компании и кричит вахтенного, но его нет. Он зовет меня и говорит: “Где у тебя вахтенный?! “Я говорю: “Вы его куда-то сами послали”. Он

меня обругал. Я очень озлился на несправедливость, обругал его тоже и сказал ему: “Раз офицер Его Величества так ругается, то мне, наверно, совсем можно”. Он сказал: “Я на тебя донесу морскому министру”. А я ему в ответ сказал: “Хотя бы императору. Я ничего не боюсь”. Он крикнул: “Я тебя застрелю!” Я схватил железную лопату и бросился к нему. Он тут же ушел в каюту. Через некоторое время я его увидел, подошел к нему и сказал, что больше служить на судне не буду. Он говорит: “Брось это помнить, я сознаю, что я виноват — сам послал вахтенного...”

Никифор Алексеевич поднял голову, повернулся к окну, потерев пальцами подбородок: “Ишь ты, как бывает... Помирились мы тогда... А стоило бы ему не лопатой, дак хоть так блябнуть — ведь и не раз на мордотрещину напрашивался... Помирились... Даже спасти однажды пришлось, утонуть не дать в Ледовитом-то океане: из разводины вытащил, с того света, можно сказать... — Бегичев прикашлянул. — Ишь ты, как бывает...” И, продолжая глядеть на Енисей, протянул велух:

— Да-а-а, брат ты мой...

2.

Наперечет в Дудинке дома. Но жизнь потекла так, что и совсем немногочисленные, и находясь по одну сторону от Енисея, они оказались как будто бы на разных берегах — одни на левом, другие на правом... Одни своим купеческим мирком как бы смыкались со стенами дома Пуссе, другие — будь у них ноги — обязательно, кажется, потянулись бы гуськом к крыше ревкомовского дома, в его мир, похожий на ледоход: и будоражащий, и несущий в себе лето...

И был в Дудинке еще один дом, живущий не тесным мирком мещанским, а неоглядным миром первопроходцев — дом Никифора Бегичева. Он стоял в этой житейской реке словно бы на острове...

Никифор Алексеевич и сам так думал, глядя на Енисей из своей “каюты” — из-за стола возле кухонного окна: “Живу, как вон на том острове Кабаком среди Енисея... И видеть меня вроде со всех сторон — и не идут, не едут ко мне...”

В конце марта, возвратясь из Авамской тундры с промысла, он, как всегда, начал ждать июля: придет в Дудинку пароход, опустится к морю, оставит там рыбаков — и в обратный путь, в Дудинке он снова постоит... Этим рейсом обычно и уезжал Никифор Алексеевич в Красноярск, продавать добытую за сезон пушнину.

Но ждать-то июля он ждал, а и сомневался: власть поменялась, купцов-то, поди, — к ногтю... Пушную фирму, ясное дело, тоже... И кто знает, как там нынче будет, в Красноярске-то...

Пароход пришел, и выясилось, что среди понаехавших людей есть уполномоченные-заготовители... Новая власть позаботилась, скупщиков пушнины живо прибрали, а взамен — Енисейский союз кооперативов: славай пушнину “Енсоюзу” этому в лице его уполномоченных и получай промтовары, продукты, припасы охотничьи.

И Никифор Алексеевич ехать в Красноярск раздумал, сказал Анисье:

— Пошто ехать, коли даже и ходить далеко не надобно, коли сам “Енсоюз” проситца, можно сказать, на постой — пристройку во дворе под свой склад занять... Пускай занимают — решил, а в душе завелась тоска не тоска, но что-то в этом роде.

Завелось это "что-то": и сосет, и жалит... "Прямо, весь организм изводит", — сокрушенно покачивал головой Никифор Алексеевич.

И даже в том, что склад енсоюзовский во дворе, было нечто едко-насмешливое: будто бы и новая жизнь сама под бок привалилась, да ведь "Енсоюз"-то — хоть и новой власти этой предприятие, а по роду своего занятия все оно же, торгашество... "Нешто в тебе, Никифор, новая-то власть в первую голову предпринимателя усмотрела и своим товарным боком приблизилась..." Так Никифор Алексеевич и кручинился, и в мыслях укорял местную власть советскую: "Што же вы, ребята... Я же по характеру своему путешественник. При царе и то знали и почитали. "Господином Бегичевым" величали, коли нужда была..."

Кроме появившейся возможности сбыта пушнины на месте, была и еще одна причина, по какой Бегичев легко отказался от поездки в Красноярск: коль прибыли в Дудинку сразу две экспедиции, так есть и возможность пойти в какую-то проводником — дело знакомое и очень по душе. Ждал, но не приглашали. Потому и сосало в груди, и укорял: "Што же вы, ребята..."

А экспедиции тем временем готовились к выходу в тундру: геологическая экспедиция Урванцева — для разведки угольного месторождения в Норильских горах, а изыскательская экспедиция Львова — для изыскания железнодорожной трассы.

Напротив бывшего сотниковского дома, над которым краснел теперь флаг, почти круглые сутки — благо полярный день светил все двадцать четыре часа — толклись люди. И этот их оживленный говор в молчаливой еще десятке дней назад Дудинке, и пришедшее на месяцок тепло, и Енисей, при солнечном свете соизволивший заглобеть, — все это создавало ощущение праздничности. И красный флаг над сельсоветом тоже.

Но все это краснело, гомонило, текло в стороне от стен дома Никифора Алексеевича Бегичева — так ему казалось. И оттого, что ходил он по избе или сидел на кухне с темным лицом, в доме тоже становилось мрачней. Подбегала старшая дочка — старшая, но еще маленькая, смешливая — тыкалась в колени, ластилась... Он легонько прикасался к ее волосам большущей грубоватой ладонью, так осторожно, будто побаивался ненароком причинить ей боль своей неумелой ответной лаской. Поглаживал дочку по голове и улыбался, — но грустно... Приходила с улицы Анисья и тоже — как дочка — радостная, выкладывала дудинские новости... И самые последние были такими:

— Людей-то, слышь!.. И все такие живые... Прогулялся бы... А знакомый твой, ну тот, что и прошлый год к Норильским горам ходил, с которым ты прошлый год у Пуссе познакомился...

— Ну-у, Урванцев, што ли!..

— Вот-вот... Урванцев, длинный, в очках да в фуражке с молоточками... Он все бегаёт, распоряжается — "это — сюда, это — туда, это — на санки, это — во вьюки... Слышь, Никиша, дегтю Урванцев-то ищет по домам — от комаров, говорит, надо... А Шукин да Горкин идут к нему в проводники..."

— Пускай идут, жалко, што ли... — угрюмо обмолвился Никифор Алексеевич, не глядя на свою милостивую да ядреную и совсем еще молодую жену.

А в груди засаднило: "Купца Горкина берут, а Бегичева для их и нету..." Нехорошо сделалось. И то "что-то", без

спросу свившее осиное гнездо в душе, горьким сгустком подступило к горлу и обрело конкретность: "Обидно!.. И не на поклон же идти — возьмите Христа ради... Может, специально не хотят, а ты припрешься..."

Бегичев, тяжело ступая, подошел к столу, какая-то из половиц под его ногой жалобно пискнула...

— Онисья, собери-ко на стол... До чево жизнь пришла хорошая — ешь-пей да спи...

Анисья, будто бы не поняв истинного смысла сказанных мужем слов, эту мысль развила и продолжила:

— Заслужил, небось... И так дома не видим: зимой в тундре, летом в Красноярске...

Никифор Алексеевич после изрядной паузы выразил полное согласие:

— Што верно, то верно...

И задумался...

...Всегда он как-то особняком... И в революционных событиях — тоже. Понимать-то, на какой стороне правда, это он понимал, но в водоворот сил мятежных, взметнувших над собой красный флаг, не попал, хотя и от него не шаркался. Просто в семнадцатом году и слабые-то круги этого водоворота до Таймыра, можно сказать, не дошли, а только сама весть о нем... Ну а в девятьсот пятом...

Прорвавшись сквозь японцев из Порт-Артура, пришли во Владивосток, узнали о царском манифесте... Царь обещал свободу слова, печати... Матросы и потребовали от коменданта крепости: "Отмените распоряжение, налагающее запрет на участие военнослужащих в митингах и собраниях!"

Лично он, боцман Бегичев, был обозлен не столько самим запретом, сколько поражением в войне: "Как это?!.. Мы то и дело проявляли такой героизм!.. Один только "Варяг" взять — как погибал!.. Адмирал Макаров погиб! Жизней своих не щадили! А Стессель Порт-Артур взял да и сдал... А после — Цусима... Как это?! Японцы против нас и стреляли-то неважно. Снаряды рвались где попало. А мы и себя не жалели, и все одно вышло — напрасная трата с нашей стороны. Генералы царские виноваты — боле и винить некого. Вот и закидали япошек шапками... А и зачем, к чему эти войны? Человек человека убивает..."

Пошел на ту войну добровольно и добровольно тогда, в девятьсот пятом, уволился в запас. В декабре приехал в Москву. И тоже поражение застал: два дня как армейские пехотные и артиллерийские части подавили восстание рабочих, на улицах — особенно в районе Пресни — патрули, костры... И там же какой-то встречный парнишка, подмигнув, сунул в руку листок: "Спрячь, дядя... А на досуге прочти да покумекай..."

Поехал в Петербург: в Академии наук причиталось жалование за проведенную еще перед войной экспедицию — за поиски Эдуарда Толля... Злополучная "Земля Санникова"...

В Петербурге, заходя в какой-нибудь флотский кабачок, не раз от матросни — от этой родной сердцу флотской братии — слышал: "Москва... Пресня... Царь Николашка — гад..." Там же услышал и слова, какие и не раскусишь: эсдеки... меньшевики... большевики... Махнул на все рукой, накопил подарков и поехал домой на Волгу — в свой город Царев Астраханской губернии. Прикатил богатым гостем и Георгиевским кавалером... А как про такого гостя прознали — валом повалили в дом гости местные, дверь закрываться

не успевала... Но и дома — политика: "...А скажи, Никиша, скоро ли будет свобода?..." И вспомнил подsunутую в Москве каким-то сорви-головой листовку. Слово в слово ее, конечно, не запомнил, но суть ее сводилась к одному: "Ждите призыва! Запасайтесь оружием, товарищи! Еще один могучий удар — и рухнет окончательно проклятый строй..." Вспомнил ту листовку и землякам своим на их вопрос ответил степенно: "Я думаю — скоро. Народ терпит, терпит — и опять вплоть до оружия..."

Вот и все его, Никифора Бегичева, участие в революционных делах...

...А сам Никифор Алексеевич свободу решил обрести немедленно, тогда же в Цареве и решил: "Поеду снова на Север, к Ледовитому океану, там я — казак вольный..."

И уже в начале июля 1906 года высадился с парохода на таймырский берег — в селе Дудинском.

Если бы в тот день сошли с парохода и десятки людей — как, например, через четырнадцать лет, в июле 1920-го, — то и в таком случае этого пассажира нельзя было бы не заметить. А тогда... Небольшой металлический сундучок в его руке, наверное, потому и казался небольшим, что очень уж крупен был сам его обладатель. А усы, с закрученными вверх, по-моряцки, кончиками, и тяжеловатая развалистая походка делали его на дудинском берегу и полавно фигурой картинной.

И все это вместе взятое да еще и басовито рокочущий, неторопливо окающий говор, кажется, были призваны вырвать обособленность прибывшего в село от всего рода человеческого и снисходительное отношение к большинству его представителей... Но зато глаза прибывшего пассажира — с живой искоркой и с доброй внимательностью — располагали к нему еще и до знакомства.

Через несколько дней после того, как он ступил на дудинский берег, все уже знали, что может он и помолчать, чей-то рассказ выслушивая с интересом, и сам байку рассказать, и что звать его Никифор, по батюшке — Алексеевич, по фамилии Бегичев, и что он не просто моряк — боцман. От роду ему тридцать два года. А сюда приехал поглядеть — что тут к чему и, может, обосноваться...

Дудинские жители отнеслись к нему доброжелательно. Даже Сотниковы, заглавные купцы, великодушные проявили и оказали честь: поселили человека "из России" у себя и денег за постой не взяли...

"Так почему же теперь, — думал Никифор Алексеевич, сидя за столом, — почему же теперь, когда и тут дело зашевелилось, я забыт... А обо мне сам Нансен в своей книге написал... Тот самый Нансен, какой три года дрейфовал на своем в лед вмороженном "Фраме" — через Ледовитый океан, почти через Полюс... Вот каким людям я лично известен... И Урванцеву бы пригодились в экспедиции, и железнодорожным изыскателям, да и кооператорам, на худой конец, фактории помог бы наладить. Вель я такие экспедиции организовывал, даже при царе! Самому теперь диво... Из Петербурга ко мне обращались. А теперь вот рядом, а будто не видят... — И подтачивал душу червячок честолюбия. — Не оценивают... А может... — возникла вдруг у Никифора Алексеевича догадка, — может, потому ко мне так, что я с Колчаком знаком был, что за шиворот Колчака тогда из полыни выдернул, спас для России... А как Анисья говорила?... Урванцев по домам ходит, деготь ищет... Может, и ко мне зайдет... Дегтя у нас, правда, нету.

Но, может, увидимся дак опять... Слово за слово — и разговоримся..."

3

И настолько тяжело переживал Никифор Алексеевич свое неожиданно-негаданное одиночество, что судьба, видать, смилостивилась: гость пожаловал в тот же день. Сначала послышался его молодой крепкий голос:

— Можно к вам?

— Потом — Анисья нараспев:

— Заходи-ите, заходи-ите!..

— А хозяин дома?

— Дома, дома... На кухне вон... Проходите...

И Никифор Алексеевич, увидев шагнувшего в кухню, поднялся ему навстречу:

— Аа-а, матрос!.. Заходи, браток, заходи в мою каюту, — пригласил гостя к столу широким жестом. — Сделаем из моей каюты кают-компанию... Онисья! Давай-ко там чево-нибудь — рыбки, тово-сево... И сама к нам присоединяйся. Али давай ты уж тут, а за рыбой я сам...

Вернулся с мороженой рыбиной:

— Экое благо, што этот сижок в нашей сарайке во льду-то сохраняется так. У меня там в углу ямка сделана — выдолбил, дак в ей круглый год мороз. А сверху я ее ледком еще — и порядок на камбузе...

Рассказывая про ледничок в сарайке, Никифор Алексеевич ловко орудовал ножом, обдирал чешуйчатую кожицу. Исходящий от рыбины холод студил пальцы до жжения.

— Ну вот... Строгать я ее не стану. Порезу на части — рубанину будем употреблять, а не строганину... Дак ты, значит, братец, на "Вайгаче" плавал? Иван, значит, по имени-то...

Иван сидел за столом, ему было неловко: из-за него так загоношились оба — и Анисья, и сам хозяин дома. Предложенное первым вопросом начало разговора помогало от неловкости избавиться:

— На "Вайгаче"-то раз только плавал. Это было и его последнее плаванье, и мое. А это, — Иван кивнул на положенную на край стола бескозырку, — память об одном человеке... Вот он-то на "Вайгаче" долго ходил.

Говор у Ивана тоже был окающий, но не сильно, не с нажимом — округленный какой-то, — это Никифор Алексеевич сразу подметил. (А о своем наречии он при случае говорил: "А теперь уж и не по-астраханскому разговариваю-то, потому што с людьми со всей России-матушки живал, а боле всево — с верхневолжцами. Отголь многие моряками становились".)

Анисья достала из шкафа соль, молотый перец, смешала те и другое, насыпала в маленькую тарелочку, а рядом поставила тарелку с нарезанными ломтиками мороженой рыбы.

— Ну вы садитесь, мужички, а я сейчас...

Бегичев, проводив жену взглядом, сел напротив Ивана, потянулся к бескозырке, взял ее и повернул надписью к себе:

— ...А я ведь участвовал при спуске "Вайгача" со стапеля. Был в девятьсот девятом году в Петербурге, дак вот... А после, в пятнадцатом году, мне пришлось экипаж этого ледокола спасать — и этого, и второго — "Таймыра". Такие вот дела были... — Никифор Алексеевич вздохнул. — Да-а-а, брат ты мой...

...Он, заслышав, что его кто-то спрашивает, но еще не видя пришедшего, так в первый-то момент и подумал: "А вот и Урванцев... за дегтем".

А пришел матрос. Но Никифор Алексеевич и при виде матроса обнадеженно ждал — сейчас скажет: "Я к вам с просьбой от сельсовета... Проводник для экспедиции нужен...".

И матрос, обрадованный тем, что надпись на бескозырке позволила установить даже что-то общее в его жизни и в жизни Большого Никифора, цель своего прихода объяснил:

— Никифор Алексеевич, я про вас столько всего слышал!.. Возьмите меня с собой как-нибудь в тундру... А?!.. Я слышал, вы на север Таймыра собираетесь, в горы Бырранга... Я для таких дел подходящий... Думаете, молод, мол... Так мне уже двадцать третий... Сиденки и все такое вроде бы есть... Ведь я на "Вайгач"-то как попал!..

— Ну, ну, как же? — поглядев на Ивана, подспросил гостеприимный хозяин с чуть заметной улыбкой, будто сухое поленце в костерок подбросил...

Поняв, что сделать предложение об участии в экспедиции матросу никто не поручал, Никифор Алексеевич в душе над собой посмеялся: "Не жди и не надейся... Не от какова он не от сельсовета, а сам от себя". Однако и заметно разочарования не испытал, — наоборот:

— Ну, ну, дак как же ты на "Вайгач"-то, спрашиваю?.. А с собой, коли пойду, чево ж тебя не взять — возьму.

А в висках пульсировало: "Хоть одна душа про меня вспомнила, хоть одна!.."

Вошла Анисья — улыбчивая, преобразившаяся: в нарядном платье, темная коса на голове излажена укладисто и как-то гордо... Вошла, взяла возле печки самовар, подогретый брошенной в его трубу пригоршней угля, и поставила на стол.

Была Анисья молода: по виду она, скорее, к поколению гостя относилась, чем к поколению хозяина. "А не промах Никифор Алексеевич, не промах... — подумал Иван и устыдился такой мысли, и одновременно не мог не увидеть, что Бегичев женою своей залюбовался...

А муж и вправду подумал, на жену глядя: "Экая помидористая..."

От чая с медом, да и от напитка, настоянного на черной смородине и выставленного на стол в честь гостя, Ивану стало жарковато, и, прожевав кусок рыбы, приятно охлаждающей во рту, он расстегнул бушлат...

— ...Так вот, значит, еще про "Вайгач"-то...

Рассказывая, он равнодушным к своему повествованию не оставался: где было смешно — смеялся, где печально — печалился. И не только Анисья, а и выдавший виды Бегичев произносил время от времени: "Да-а-а...", "Ну, паря..."

А закончил Иван свою историю вопросом:

— Никифор Алексеевич, а как ты "Землю Санникова"-то искать пошел? Как в ту экспедицию попал?

— А так и попал... Служил на флоте. Был матросом второй статьи, потом — учебная команда, потом боцманом плавал. А вообще-то где токо и не был — и тебе Азорские острова, и Америка та и другая... И штиль, и шторма... У Азорских-то нас однажды целый месяц трепало. А пришли в Россию... В девятьсотом году это было... Сигнал: "Команде наверх!". Во фронт выстроились, и какой-то офицер незнакомый спрашивает — кто из матросов хочет в экспеди-

цию на шхуне "Заря", она стоит в Петербурге... Охотников много вызвалось... — Бегичев засмеялся. — Думали на императорскую яхту "Полярная звезда", а когда поняли, што — в полярное путешествие, тогда желающих сильно убавилось... Ну и старший офицер подводит тово, незнакомова, летенанта ко мне...

А мне в полярных морях очень хотелось побывать. Везде был, а здесь — нет. Вот и оказался я боцманом на "Заре", пошел, значит, с Эдуардом Толлем искать "Землю Санникова"... Помню, в Карское море входили, думал: вот она, страна льдов и мрака... Суденышко наше было перегружено, против ветра выребало плоховато, на волну тоже всходило тяжко. Лыдины об корпус шаркали... Таймыр в то лето мы так и не обогнули. Зимовать пришлось. Зимовали сносно.

Первова сентября — это значит уж в девятьсот первом году — мыс Челюскина обошли — обрывистой, каменистой... Но ходу своей "Заре" мы там как следует и не дали: ударил шторм, легли в дрейф... А кругом торосы плавучие. Волной как подымет льдину выше судна!.. Хрясни по нам хоть одна — конец... Но обошлось. Пересекли море Лаптевых... Токо вот "Земли Санникова" все не было... Эдуард Васильич свой "цейс" то и дело — к глазам... Осунулся, ходит по мостику, ходит... И все твердит: "Санников видел "Землю" в начале девятнадцатого века. Я — первый раз — в 1886 году, второй — в 1893-м, смотрел с острова Котельный и видел... Понимаешь, говорит, боцман, — сам видел!.. Ошибитца не мог: ясный, солнечный день — и далекие тесные контуры четырех гор... — Бегичев настолько увлекся рассказом и, видимо, настолько отчетливо представил возбужденно шагающего по капитанскому мостику Эдуарда Толля, что поднялся, громоздясь над столом, и рассек рукой воздух. — Понимаешь, говорит, боцман, ведь и не я же один "Землю" тогда наблюдал. Каюр, говорит, мой, эвенк Джергели много раз летовал на Новосибирских островах — и тоже видел. Кулаком в грудь стучал: раз бы, мол, ступить на "Землю" ногой — и умереть!..

И Бегичев, показав, как, по рассказу Толля, стучал кулаком в грудь каюра Джергели, снова сел за стол, замолк... Но молчал недолго и, устремив на Ивана заискрившиеся глаза, качнулся к нему:

— Знаешь, как Толль говорил?!.. Он говорил: "Не ведаю, боцман, сможешь ли ты постичь эту радость исследователя, открывателя. Наверно, нет... Што, говорит, тебя позвало идти со мной? Деньги? Слава?.."

А мне тогда было просто любопытно... Но он меня зажег. И он был неправ: постиг я радость открывателя. Постиг!.. "Землю Санникова" мы не нашли... Толля вот токо потеряли. Но и желанье узнавать неведомое осталось во мне. Потому и остров потом открыл: не нашлась "Земля Санникова" — нашел "Землю Дьявола". Так и по сей день остров-то этот мой здешние тундровые люди зовут.

— А как же с Толлем-то получилось? — спросил Иван, поняв, что Бегичев свой рассказ о "Земле Санникова" закруглил...

— С Толлем-то? А што с Толлем. В сентябре мы увидели остров Беннетта, но добратца к ему — уже без пользы дело, потому как ледостав. Порешили зимовать близ Котельнова. Избу выстроили. В ей встречали и девятьсот второй год. Все шло своим чередом. Настала весна. А в июне Эдуард Васильич взял с собой троих — и к Беннетту на собаках. Ду-

ал, значит, ускорить: пока, мол, "Заря" во льду, я — на енетт, а там и "Землю Санникова", да с Бог, увидим... — егичев вздохнул. — Да токо не он "Землю" эту не увидел, е мы ево... Когда он уходил, письмо нам оставил и распоядился — "вскрыть, если потом не найдете меня на острове Беннетта". А мы к Беннетту и попасть-то не смогли. "Зарю" лед освободил токо во второй половине августа. Двинулись было, да... Сначала туманы, а потом лед непроходимый встретили. Пурги начались. Снасти леденели. И пришло Толлево письмо вскрыть. Прочитали: "На третью зимовку оставаться запрещаю"... И повернули мы на юг, к бухте Тикси. "Зарю" в той бухте оставили, а сами на пароходе "Лена" — по реке, а потом через Сибирь в Петербург. Там я начал добиватца спасательной экспедиции, штобы Толля, значит, искать, А мне говорят, когда понадобишься — позовем... Да-а, брат ты мой... И поехал я пока домой, в Царев. Не был ведь семь лет... — Лицо Бегичева осветилось улыбкой. — Заявился я тогда домой — што тебе купец: на почтовой тройке с колокольцами, в оленьей дохе, а в санях — поставец: всякие-разные кулечки, закуски столичные... — Улыбка на лице Никифора Алексеевича вдруг стаяла. — ...А отца свою я уж тогда в живых не застал... — Бегичев встряхнул головой и... запел:

Слы-шен звон бубенцев из-дале-ека —

Это трой-ки знако-мый разбег...

А во-круг расстелил-са широ-о-око

Белым са-ваном искристый снег...

Иван почувствовал, что в груди его растекается что-то беспредельно широкое, светлое, как снежная равнина и грустное, раздумчивое, как первый снег, тихо падающий... И подстал к песне:

Пусть ямщик свою песню за-тя-янет.

Ветер бу-дет ему подпевать...

Что прошло, никогда... не наста-нет,

Так зачем же теперь горевать!..

Они пели негромко, но душевно: один голос пониже, погуше, другой — повыше, пожурчащей. Анисья глядела на них, улыбалась, а в груди до сладких слез щемило... "Какие же они оба!.. Распахнуты, как рубахи, — подумалось ей. — Пуссе вот не в жизнь таким не будет или тот англичанин, какому прежде Никифор пушнину сдавал".

Анисья с Иваном в эти минуты не просто глядела — она ими восхищалась: "...Как те русские богатыри... Никифор — будто Илья Муромец, а Иван — Добрыня... Только безбородые". И вот ведь штука: делая такое сравнение, она видела, что внешне оба они на богатырей с картины похожи ну разве только дюжим телосложением. Видела, а все равно в безбородом да гололобом Никифоре виделся Илья, а в светлоглазом да русоволосом Иване — Добрыня...

От песни к рассказу Бегичев перешел так же, как и от рассказа к песне — и вдруг, и в то же время совершенно естественно:

— Да-а... Чево уж теперь горевать!.. Я вот, бывает, позадумуюсь... Сорок шеск мне — разве это много? А прикинешь — будто жизней пять, не меньше, прожил... В детстве когда... Потом флотская служба... Потом "Земля Санникова"... Потом война... А потом этот остров — "Шайтан-Земля"... — Бегичев положил свою тяжелую руку на стол и протяжно так посмотрел на Ивана... — А дальше с Толлем-то вот как было... Вызвали меня из Царева в Петербург теле-

граммой. Решила-таки Академия наук розыски Толля провести. Да и как иначе-то?! Иначе нельзя — и по совести нельзя, и газеты поднялись... Короче, в феврале девятьсот третьего мы уже от Якутска двигались — штобы, значит, снять с острова Беннетта и Толля, и спутников ево... Эх, мог бы человек видеть через расстоянья!.. В августе мы до того острова все же докарабкались. И в торосы попадали, и в трещины, а после — и в шторм. А ведь не на корабле... Подкидывало нас целые сутки в том шторме — в Ледовитом-то океане, на шестивесельном-то вельботе... Чудом остались живы. Но и штиль тоже был, не токо шторм. Дакопять же туман — при штиле-то. Гребли в том тумане без перерыва полсуток. Потом ветер подул, и льдина к нам подъехала... Тоже на север гнало. По пути, значит. Ну и оселлали мы эту льдину, поехали за казенный счет. Все легли спать в палатке. Уснули. Да-а... А мне почему-то не спалось — да и хорошо: волна как ударила! — всю палатку окатила. Выскочил, гляжу — льдина пополам... И как раз у вельбота — едва ухватил ево... Так-то вот путешествовали. Говорю, прямо чудом не угодили к Нептуну... Добрались, значит, в августе на остров Беннетта, — а это же токо по льдам да по водам Арктики считай тыща верст... Идем по острову, глядим — весло от байдарки в снегу торчит. Подбежал, глядь — а под им бутылка. В бутылке — записка. Прочитали... Эдуард Васильич написал, што на востоке острова — их избушка... Подходим... И нашли мы там не их, а токо бумаги. А Толль-то сам и товарищи ево ушли с острова в южном направлении — в октябре еще девятьсот второго... Так они в бумаге указали. Значит, почти год назад ушли. С острова-то ушли, а на материк не пришли... В польнью, поди, где-то... Написал Эдуард Васильич и про то, што "Землю Санникова" так и не увидели, но все же видели, как птицы откуда-то с севера летели... Стало быть, "Земля" где-то там все же должна быть... Вот ведь какой магнит проклятой — тянет и тянет, дальше и дальше... А наша эпопея с той "Землей" на том и закончилась.

Иван глядел на сидящего напротив рассказчика и думал: "Большой Никифор... Человек-легенда..." Глядел и был счастлив: еще бы, услышать все это не от кого-то, а из первых уст!..

И Никифор Алексеевич — будто воспламенясь вмиг — глянул на Анисью, взмахнул рукой и снова вдруг переключился на песню:

Ой! моро-з, моро-о-оз, не-е-е моро-о-зь меня-я-я,

Не моро-о-зь ме-ня-я, моево-о коня-я-я...

Уу-у ме-ня-я жена-а-а, ох! краса-ви-ца,

Ждет меня домо-о-ой, ждет печ-а-а-литца...

И оборвал песню тоже внезапно. А лицо Анисьи расцвело, как маков цвет...

Иван переводил взгляд с Никифора Алексеевича на Анисью, с Анисьи на Никифора Алексеевича и улыбался, а пока душевный настрой хозяина дома не изменился, Ивану хотелось и еще об одной истории услышать: когда еще такая обстановка случится...

— Ну а "Земля Дьявола"?.. — только и спросил, но этого было вполне достаточно: желание Ивана внимать рассказу совпало в этот день с желанием Бегичева видеть перед собой благодарного слушателя.

— А про эту "Землю" я услышал от старика Бетту. Говорит, там шаманы дикие... Людей туда они не пускают. А кто, говорит, все же дойдет — живым не вернетца. Я сразу-



то не поверил. А он мне: "Мое слово твердое. Спроси других. Песец там непуган. Однако и волки злые. Их шаманы дикие да шайтаны пасут... А остров тот, — говорит, — напротив Хатангского залива". Я, понимаешь, — и верить, и не верить: ведь там когда-то моряки Великой Северной экспедиции проходили, — сам Харитон Лаптев, — и никакова острова не обнаружили, иначе бы он на карте был обозначен. А его на карте нет. Выходит — новая "Земля Санникова"...

Ну и потерял я покой. В сезон с девятьсот шестова на девятьсот седьмой упромыслил я в Авамской тундре сотню песцов, летом — в Красноярск. Продал их выгодно. Накупил всево, што надо, — и в Дудинку. Здесь нарядился — и в Хатангу. Это уж в январе девятьсот восьмова. Остров этот шайтанов решил искать не в одиночку, еще двоих взял: Семенова да Уксусникова Диомида. План у меня был такой: добратца до острова по льду на оленях и там летовать... Увидел я остров в самом конце апреля — с высокой береговой сопки, день был ясной. Смотрю в бинокль: точно, Земля!.. — Смутно так надо льдом вдалеке...

Сначала я туда один поехал. Да-а... И вступил я на тот остров как раз в первый день мая. Снег... Пусто... В груди зашлось как-то... Ведь новая земля открыта! И открыл-то — я!.. — Бегицев замолчал, на Анисью поглядел, на Ивана: — Понимаете?.. Открыл неизвестную землю!.. Стоял я тогда и в грудь себя стучал, стучу — вот так вот — и говорю себе: "Вот она, Никифор, твоя "Земля Санникова"\*... А у самово слезы на глазах. Эхх!.. Вот когда я понял суть-то слов Толля насчет радости открытья! Вот когда понял Толлева каюра Джергели: верно он говорил, што раз на новую землю ступить — и умирать можно... Да-а-а... Больше месяца нам опосля потребовалось, штобы остров обойти по краю. У меня с собой имелась буассоль\*\*, а потому и очертанья острова я сразу — на бумагу... Отдохнем — и дальше, отдохнем и дальше. А как-то просыпаемся, значит, глядь из палатки, а наших оленей нет... Зато, вижу, — волки... Я — за винтовку. Хорошо еще, што они токо пугнули оленей-то. Нашли мы их часов через шесть в море, в густом торосе. И таким макаром отделались счастливо. Да-а...

А потом на острове шумно стало: птицы прилетели — гуси, кулики, утки, чайки — до того много!.. Диомид мой — Уксусников — говорит: "Заклюют, уезжать надо отсюда..." Нашли мы там и мамонтовы бивни, и кости других животных из допотопного мира, понимаешь ли... И везде — каменный уголь, даже в костре горит хорошо. А как-то забрел я вглубь острова, в горы, смотрю, а из отверстия в земле течет какая-то черная жидкость... Сунул туда палкой, вытащил, попробовал спичкой — не горит, но трещит. Я так думаю, што это была нефть. Да-а... Обошли мы, значит, остров... Живем, как робинзоны, ждем, покуда пролив встанет. Медведи белые прихаживали. Потом моржи появились — это уж в начале августа было. Тоже, как и птиц, тьма тьмушая... Моржи и моржи — все берега уславы... Ходишь промеж их — промеж моржей-то, — когда разоспятца, а они и не шевельнутца. Песца тоже много — но не сезон. Да-а... В ноябре мы выбрались на материк. Туземцы не верили,

\* Теперь этот остров в море Лаптевых называется "Большой Бегицев".

\*\* Буассоль — геодезический инструмент, служит для измерения горизонтальных углов между магнитным меридианом и направлением на предмет — азимутом.)

што мы с "Шайтан-Земли", с "Земли Дьявола"-то, вернулись целые. Приезжали, туземцы-то, шупали нас, головой качали...

А в мае девятьсот девятова я уже был в Петербурге: привез свою карту острова в Морское гидрографическое управление. Тогда вот на спуск-то "Вайгача" и попал как раз... И в Академии наук тоже побывал, привез им кой-какие образцы с острова и череп лошадиный... Покрутили и говорят — древняя дикая лошадь... Да-а... Выходит, климат на Таймыре был когда-то совсем другой...

И шло у меня тогда все, как нельзя лучше...

Но трагедия-то на Дьявольском острове все же произошла...

В девятьсот десятом я опять туда наладился. Хотелось там песца попромышлять. Кроме Диомида Уксусникова да Семенова я взял Кузнецова Егора и Ефима Гаркина. Ефима-то, правда, я очень не хотел брать — Севера путем не знает. Но упробил — возьми да возьми... Вот и взял. Запаслись провизией и в мае уже были на острове. К зимовке стали готовитца. Избу из плавника сложили: получилась сухая, теплая. В то лето я там остатки мамонта нашел — не токо кости, а и мясо... В мерзлоте-то сохранилось — хоть вари... Но у нас и кроме было чево жарить-парить: гусятина, оленина — диких-то понастреляли. Урожай песца тоже сулился хорошей, а зимой, значит, и промысел. Мы и приваду по берегу раскидали — мясо моржовое, и пастников понаделали.

Но, видать, верно говорят — "Шайтан-Земля"... Волки в октябре — все наших оленей наподчистую... Каких загрызли, каких угнали. Теперь уж и не нашли мы их. Говорю своим компаньенам: давайте убиратца подобру-поздорову на материк, хоть и пешком, а надо... Егор да Диомид согласились, а Семенов с Гаркиным — ни в какую. Говорят, останемся промышлять... А какой без транспорта промысел. Мы перед Новым годом ушли. Холод — жуть. Полсотни верных — мороз-то. Хольбой токо и согривались — шли и шли... Через четверо почти суток на якутский табун наткнулись, а по оленям и балаган якутов нашли. Фуфайки снимаем — насквозь проморожены...

А весной — это, стало быть, уже в девятьсот одиннадцатом — я купил собак ездовых, провианту и снова на остров... И точно: дела у их — швах... Не то што песцов наловить — сами насилу живы. Подкормил — оклемались. Говорят, давай еще на сезон. Я тоже был намерен остатца. Так и сделали. Но опять худо: песец, наверно, голодную зиму почувал — ушел на материк. Добыча плохая стала. А в день Новова года — это уж двенадцатый наступил — Гаркин приходит и говорит: "Убежали собаки". Как, спрашиваю, так? А самово аж затрясло... А он мне спокойнехонько: "Привязал я их слабо, увидели песца — и за ним". Короче, из трех десятков собак осталось у нас — пшик. А те, што убежали, ясное дело, прибежали как раз к волкам...

И я решил твердо: надо уходить... Грешным делом засомневался: правду, што ли, на этом острове нечистая сила... А Семенов — не пойдём и точка. А Гаркин — под ево лудку. Я уж и так, и эдак... Говорю, давайте, как есь: промысловики вы оба никудышные, оленя убить — с горем пополам, разе што — привязаннова. А дикова-то... Но Семенов — на своем: "Еды нам и так вдоволь. Уходи, а мы останемся". Дело — до скандала. Мне и обидно, и зло берет. Ну, говорю, пеняй на себя. А на меня боле не надейся. Я, поди,

в Царев уеду и, может, на Таймыр не вернусь. Сказал, а сам думаю: "Вдруг эти олухи царя небеснова тут... Меня же тогда люди и обвинят...". Опять давай Семенову доказывать: "Я вас сюда взял. Я за вас отвечаю. И если што — скажут, бросил на необитаемом острове". Семенов: "Мы напишем — остались добровольно". И написали. Я ушел. И с Таймыра в тот год уехал. К матери в Царев. Подладил дом. Хотел — на мертвый якорь. Но лето пожил — и засвербило... Мать — в уговоры. А меня на Север — опять как магнитом. Видно, весь этот край — какой-то дьявольской...

В Дудинку добрался глубокой осенью. Да-а... Спрашиваю про Семенова с Гаркиным — никто не знает. Я сначала — в Авамскую тундру, в Медвежий Яр — и там про их не слышать. Думаю, значит, в Хатанге. А беспокойство одолевает. И промысел на ум не идет. Поехал в Хатангу — и там нет. Я — на остров... А ведь не близкий свет... — Никифор Алексеевич поднялся из-за стола, сходил в переднюю комнату и вернулся, держа в руке тетрадь, остановился возле Ивана, полистал... — На вот почитай... Это из дневника Ефима Гаркина...

Иван взял тетрадь, приглядываясь к написанному.

— Да ты вслух... Онисья вон тоже послушает...

— Сейчас, сейчас... Двенадцатого июля 1912 года... — начал Иван читать. — Сегодня настоящая зима, снег так и валит, уже закрывает землю, и тундра вся побелела. На море появились забереги. Дикий олень на острове есть — большой переход с материка был.

28 июля. Лед сгрудило к избе.

29 июля. Пошел сильный дождь. Лед пододвинуло ближе к избе. Нас загородило льдинами кругом, мы теперь, как в ледяной крепости.

7 августа. Вся тундра от мороза стала белой.

16 августа. Снег покрыл землю. Наступает полярная зима.

8 ноября. Солнце скрылось в начале месяца. Поехали настораживать пасти. Может, упроемыслим и дикого.

19 ноября. Пролит все еще ходит. Жизнь для людей здесь невозможная. Три года в Дудинке, и здесь на острове — третью зиму. Приходит темная пора, и у меня начинает болеть под челюстями.

28 ноября. Ели песцовое мясо. А дикий олень просто смеется над нами. Сильный скрип снега под ногами выдает нас.

15 декабря. Последний кусок сахара. Угрюмого моря за стеной уже не слышно. Прибой замерз. Но — беда: у Семенова цингой свело ноги.

1 января. 1913 год наступил. Пурга. Холод. Сожгли скамейки, табуретки.

8 января. У нас голод. Вышла вся провизия. Мой товарищ очень слаб, но везти его на материк я тоже не смогу.

2 февраля. Сварили последнюю песцовую голову.

3 февраля. Николай Николаевич помер.

6 февраля. Высматривал пастники — пусто. Голод раздрает внутренности. Ел оленью кожу. Вечером заколол собаку.

17 февраля. Ел оленье камусы\* и моржовый ремень, на который привязывали собак.

28 февраля. Едва мог встать. Удастся ли съездить по дрова? Надежды на жизнь оставили меня.

\* Камус — шкура с ног оленя.

4 марта. Съел только один сухой камус. Жгу в избе полы. Выхода нет. Силы оставили меня. Все надежды потеряны, если не приедут люди, хотя бы вы, милый Никифор Алексеевич.

6 марта. Пурга. У меня полные сени снега. Жить нет силы. Боже! Пошли людей с материка! Тела на мне не осталось совсем. Ведь только подумать — уже 41 день переносу голод. Страдания дошли до предела.

19 марта. Ноги мои на постели не согрелись. Я ожидаю конца существования. Николай Николаевич помер в проливе между балаганом и речкой Диомида. Около него стоит ружье, и на нем часы. В речке Диомида 30 штук песцов лежит... — Иван, прочитав эту последнюю запись, еще некоторое время продолжал смотреть в тетрадь, а переведя взгляд на Бегичева, увидел, что он сидит, навалившись на стол, в глазах — слезы.

— ...Да-а-а... Девятнадцатого марта... А я появился там тридцатого. Через одиннадцать дней... Подхожу — зимовье в снегу. Захожу — темно. Окна снегом забиты. Наткнулся на койку — што-то твердое... Зажег свечу, одеяло откидываю — Гаркин... А на столе — дневник... Как прочитаю это или вспомню, не по себе делается... Ждал ведь меня: "Хотя бы вы, милый Никифор Алексеевич", — пишет, приехали... И ведь мог же я, мог! Не задерись на Аваме... Но я и в мыслях не держал сразу-то, што взбрело им на третью зиму остатца — на верную смерть. Я даже когда и мертвым-то Гаркина увидел, дак сразу-то подумал, што он еще в прошлую весну... Да-а, брат ты мой, вот как бывает... Алчность людей губит. Хоть в чем-то малом, хоть в большом, — хоть промысел взять такой, хоть даже причину войн.

...Долго еще сидели гость и хозяева за столом: то Бегичев что-то рассказывал или спрашивал, то Иван.

4

В конце сентября снегу в Дудинке и по ее округе заметно прибавилось. Не улежавшийся, не прибитый ветрами, он даже и не при сильном норд-осте, дувшем в это время, мутит воздух низовой метелью. Да и ночи прибывали и прибывали — и утапливали день с обоих концов. А сверху давили на Дудинку наплывавшие с Ледовитого океана серые облака.

Тоскливая пора: птицы улетели, песец для промысла не вызрел, пароход "Туруханск" со своими тремя лихтерами ушел и забрал оживлявших Дудинку геологов и железнодорожных изыскателей. Пусто в Дудинке стало и одиноко...

А Никифору Алексеевичу Бегичеву тяжело было, как никогда. Мало того, что ни в одну из экспедиций, работавших здесь летом, его не пригласили, так еще и недавний разговор с Пуссе — он, как соль на рану, этот разговор. Но Пуссе и не солил вроде бы, и разговорчив был как всегда.

Никифор же Алексеевич, в противоположность прежним беседам, красноречие свое будто в сундучок дома запер.

Пуссе такую перемену не заметить не мог. Знал он и причину хмурости соседа: и сам догадывался, поскольку был не лыком шит, и молодича бегичевская — Анисья — как-то обмолвилась: "...Да плюнь ты, говорю, Никиша!.. Ну не позвали в экспедицию — эка беда! Проворные, говорю, нашлись — пошли да сами напросились-навязались... Может, говорю, наоборот, посчитали — не предлагаешь себя, значит, не хочешь сам". А он свое: "Я и при царе не на-

прашивался, да, небось, звали..." Гордый он у меня, своенравный который раз бывает".

А через несколько дней Ксенофону Васильевичу Пуссе выдался случай потолковать и с самим Бегичевым.

...Встретились на улице — один домой шел, другой у своего дома стоял и проходящего окликнул:

— Вечер добрый, Никифор Алексеевич!

— Здорово, здорово...

— Как самочувствие? — Пуссе при этом сделал шаг навстречу, так что пройти мимо, не остановившись, Бегичеву стало и неловко.

— А што с моим самочувствием приключитца. Здоровьем не обижен.

— Обидеть не только здоровье может...

— А кто меня может обидеть?! Я сам ково хошь могу.

— Время такое, Никифор Алексеевич. Сам знаешь, что лес рубят — щепки летят. А когда такое дело, как ныне, — так летят головы... Колчак вон всю Сибирь оседлал, Верховным правителем России величался, а его — раз! — и с коня...

— Куда ему...

— Да, да... Ты ведь его еще в чине лейтенанта знал... Погоди-ка, погоди... "Беличев..." Так это он о тебе, однако...

— Што обо мне? — насторожился Никифор Алексеевич.

— Да слышал я тут как-то краем уха, говорили енсоюзские — товарищи кооператоры, значит, — мол, когда Колчака арестовали, так он при допросах твердил все о своих заслугах в области полярного мореплавания и все на какого-то Беличева ссылался: он, мол, подтвердить может, он же жизнь мне спас даже однажды, а человек, мол, воистину русский, дружный, мол, были мы с ним... Может, он фамилию твою немного запомнил, а может, молва поискавила.

— А не говорил он, как однажды я его чуть лопатой не прибил да как он науток пустился?

— Ах, даже и такое было? Завидная у тебя судьба, Никифор Алексеевич... И тем обиднее, коль в пылу страстей революционных страдают не просто невинные, а и люди, каким памятники бы ставить по прошествии определенного времени. А пока что время такое — горячие головы еще не остыли...

После того вечера Никифор Алексеевич все свои летние огорчения связывал с Колчаком почти наверняка: "Не желают иметь дела..."

А в один из следующих вечеров услышал стук в окно. Вышел. Обдало морозцем и ветерком.

— Кто тут?

В ответ из-за передней стены дома раздался мальчишеский голос:

— Никифор Алексеевич! Червяков тебе велел в сельсовет идти. Поскорей велел! Кто-то там на боте приехал!..

"Ну вот и завелась канитель... Штоб его, етова Колчака-адмирала..."

Но кроме сердитости от того, что надо будет что-то объяснить властям и вроде как оправдываться, когда ни сном, ни духом никакой вины за собой не ведаешь, Никифор Алексеевич и любопытство испытывал, и даже поднятие духа: "Ну-ну, поглядим... Все не так скушно..."

Входя в сельсоветскую комнату и нагибаясь, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Бегичев увидел только Червякова, заговорившего без промедления:

— Здравствуй, Никифор Алексеевич. Пришел тут с бота "Иней" посыльный, тебя спрашивает... Просил, чтобы ты к ним... Извини, не сообразил: надо бы так тебе и передать, чтобы ты прямо на "Иней" шел. Торопятся они с отходом. Ну и я поторопился: поймал первого попавшего — и за тобой, елки-моталки...

Бегичев спустился к Енисею.

Маленький бот, приткнувшийся к застланному снегом берегу, в вечерней сумраци и на фоне черной воды напоминал не успешную улететь на юг птицу.

Искавший встречи с Бегичевым представился как заместитель Председателя Комитета Северного морского пути, предложил сесть и спросил:

— Никифор Алексеевич, фамилия Амундсен вам знакома?

Бегичев, приготовясь было услышать фамилию другого мореплавателя, усмехнулся:

— Знамо дело. Норвежец. Южный полюс открыл. А в позапрошлом году, слышал я, Амундсен был на Диксоне и ушел на шхуне "Мод" вдоль сибирского побережья... Не случилось ли што?

Заместитель Председателя Комсеверопути усмешку Бегичева понял по-своему:

— Я, видимо, несколько не так начал. Конечно, как вы можете не знать об Амундсене... Да, случилось. Но не с ним, а с двумя участниками его экспедиции... Весь Таймыр обогнуть в восемнадцатом году ему не удалось. Льды. Зазимовал. А собранные ценные для науки материалы, чтобы не брать их с собой в многолетний дрейф и не рисковать ими, отправил. С двумя моряками отправил — на Диксон, с тем чтобы оттуда оба они вернулись в Норвегию. Но они и на Диксон не вернулись...

— Да-а это скоко же время прошло, — поднял и опустил руку Бегичев.

— С Амундсеном расстались они в сентябре прошлого года. Год, значит...

— Многовато... Пройти им надо было по берегу до Диксона верст... Откуда бы они там ни двинулись — верст около тыщи, ну — тышу... Даже в здешних условиях двум здоровым мужикам — а, поди уж, Амундсен не слабаков направили, — пройти на лыжах такой путь не Бог знает скоко время нужно, далеко не год, во всяком разе.

— Как бы там ни было, Никифор Алексеевич, но вопрос поиска людей Амундсена будет, по всей видимости, решаться на уровне правительств — нашего и норвежского. А я предварительно должен узнать: не согласитесь ли вы организовать такие поиски?.. Искать, понятно, теперь уже придется их следы... Спасать там, конечно, уже некого... Более детально сообщим позднее. А пока — только ваше "да" или ваше "нет". Но очень бы желательно — "да". Сам же Амундсен предполагает дрейфовать вместе со льдами, во льдах, надеется, что доставят они его прямо на Полюс... Ну так как, Никифор Алексеевич?..

Бегичев давно понял, куда клонится разговор, но только теперь почувствовал, как приятное тепло пошло по всему его большому телу: "А я-то терзался... Чево токо в голову не взбрдет, когда без деятельности сидишь..." И с достоинством ответил:

— Ну дак раз такое дело — как не помогчи.

*Продолжение следует.*

## Николай ОДИНЦОВ

*Родился в 1923 году. Репрессирован. В Дудинке с 1945 года. После амнистии — работа на различных участках Дудинского лесозавода. В настоящее время — его директор. Печатался в окружной газете "Таймыр". Лауреат литературной премии Огдо Аксеновой.*

### НА ПЕРЕПУТЬЯХ ТЕРНИСТЫХ ДОРОГ

Отгремели победные салюты в городах-героях Советского Союза. После долгого военного лихолетья жизнь начала входить в мирные берега. Оживленнее и веселее становилось на городских площадях, улицах, в деревенских домах чаще стали раздаваться звуки гармонии, и залушевные, порой залихватские песни неслись далеко за околицу.

Светлее становились улыбки на лицах людей. Наконец-то свершилось: снова настал мир на земле. Ох, с каким нетерпением ожидали окончания войны заключенные! Каких только надежд не рождалось у них! Иногда мне доводилось читать, да и по радио слышать, особенно в годы реформ, что многие, не только заключенные, но и свободные граждане, ждали и желали, чтобы нас победили немцы. Вранье это. Если и попадались такие, то их было немного. Было бы много — не было бы нашей Победы.

Сразу после победного дня режим в омских лагерях начал меняться в лучшую сторону. Особенно это было заметно с наступлением зимы 1946 года. К этому времени строительство стратегически важных объектов, начатое в первые военные годы, шло к завершению. Работы свертывались. Мы знали, что из соседних лагерей сначала понемногу, потом все больше и больше увозили заключенных в другие регионы: восстанавливать разрушенные города и возводить новые стройки. Требовалось очень много рабочих рук.

В самом большом омском лагере, где я отбывал срок наказания, с началом весны поползли упорные слухи о его расформировании. Когда начнут отправлять, в какие края, в какие лагеря? Никто толком не знал, говорили по-разному. Одни уверяли, что всех отправят на Колыму, другие утверждали, что на Украину — там больше разрушено сел и городов (причем слышал это из достоверных источников), третьи — на лесоповал, четвертые... Домыслов и предложений было много. Наша бригада ходила на уборку территорий строящихся или уже построенных объектов. Работа была не тяжелая: ходи да подбери мусор. Да и то работали спустя рукава. Больше сидели. Никто почему-то нас не подгонял. Мы хорошо понимали, что так долго продолжаться не может, чувствовали приближение перемен. Оттого у каждого была в душе томительная тревога: уезжать

неведомо куда никому не хотелось, привыкли друг к другу, да и условия стали много лучше, чем в прошлые годы.

Время шло, а с ним и срок. Правда, часто перегоняли с одного объекта на другой. Только немного на одном обвыкнешь, как завтра уже ведут на другой.

А было и так. Приведут бригаду, только разойдемся да рассядемся перекурить, бежит какой-нибудь рассыльный, ткнет начальнику конвоя предписание. И кричит уже тот с неохотой и недовольством (тоже не было желания "шастать" в полном обмундировании по несколько километров): "Собирайтесь в строй! Подходи! Разберись пятерками!". И вот идем снова, не спеша. А когда придем, то оказывается, что и там работы нет никакой.

Однажды теплым мартовским днем во время перехода нашей бригады с одной стройки на другую конвоир застрелил выскочившего из строя совсем молодого парня. Никто потом так и не узнал, зачем ему понадобилось выбегать. Этого парня совсем недавно привезли из какой-то деревушки, осудили, и к порядкам лагерного режима он еще не привык. Падая, он успел обернуться, на лице были растерянность и недоумение. Случай сам по себе обыкновенный. Не один заключенный был убит во время побега или просто при малейших попытках. Оформляли просто: убит при попытке к бегству. Но в этот раз все выглядело по-иному. Конвоир стрелял без предупреждения. Обычно перед выходом начальник конвоя, как "отче наш", выговаривал заключенным: "Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Стреляем без предупреждения".

А тут, как на грех: даже и этого не было сказано никем из конвоя. Вообще большинство конвоиров в таких случаях поступали просто: сначала убьют, а потом палят вверх, попробуй докажи, да и кто будет докапываться. Наш конвоир, что застрелил, был совсем еще "молокосос", от растерянности при виде содеянного бросил винтовку и бросился от страха бежать. Куда уж там "заметать следы"! Хорошо, успел старший конвоя схватить убившего за руку, а то бы скрылся.

Заключенные зароптали. Бригаду возвратили в лагерь. Убитого принесли. Конвоира посадили на гауптвахту. В чем была его вина? То ли что винтовку бросил от испуга и стал убегать, то ли что застрелил не "по правилам"? Откуда нам знать? И все же... В последнее время отношение к таким фактам и им подобным со стороны высших властей много изменилось. Теперь уже не сходило с рук "за здорово живешь".

Началось расследование. Всех по одному расспрашивал оперуполномоченный. Чем кончилось это дело, мы так и не узнали. Бригаду на работу долгое время не выводили, потом стали заставлять выполнять кое-что в лагере. А слухи об этапах разрастались все сильнее и сильнее. Да и трагический случай с парнишкой, видимо, подтолкнул вышестоящее лагерное начальство к быстрейшему расформированию этого лагеря. Как-никак, а кому нравится, когда заключенные в зоне бузят? Ожидать пришлось недолго. Наступил и наш черед.

Через несколько дней после майских праздников (в том году впервые в лагере 1 и 2 мая не работали) вечером в наш барак зашли двое нарядчиков. Но списку зачитали фамилии. В нем был и я. Велели собрать вещи и не расходиться. Предупредили: через час они возвратятся, и тогда мы с ними пойдем в отдельные бараки для оформления на этап.

Пригорюнился я. Но что делать? Одно утешение: наших бригадников было в списках больше 10 человек. Не пропаду. Не в первый раз такое. Аккуратно собрал вещички, покрепче завязал котомку и стал ожидать. Чего ждал? Совсем стемнело, когда отобранных заключенных повели на формировочный пункт. В тех бараках было свободно. Людей совсем немного. Быстро облюбовали места для ночлега. Каждый разместился, где хотел. Взгромоздился и я на самый верх. Не раздеваясь, тут же уснул. Не слышал, как приводили все новые и новые партии заключенных, не слышал шараханья, споров, матерщины. В первую ночь на новом месте, несмотря на тревожные ожидания, спал безмятежно. Когда утром проснулся и огляделся, то увидел, что все полати нар заняты, а рядом со мной расположился пожилой мужик. Когда я открыл глаза, он сказал:

— Ну, спишь ты крепко. Даже ни разу не повернулся. А я вот всю ночь проворочался и только под утро немного забился.

— Хорошего в этом мало, — ответил я. — Ворье только и ждет, когда крепко уснешь. Сразу упрут последнюю одежку — и не услышишь, как.

Я говорил, подозрительно глядя на него, а сам в это время прощупал под головой котомку — цела ли?

— Это ты прав, ухо надо держать востро, — так же спокойно поддержал меня сосед. — Ну, ладно! Давай познакомимся. Может, еще долго придется вместе время коротать. Как зовут-то тебя? — спросил он.

Мне не очень нравилось так, с ходу, знакомиться с первым встречным. Но, немного подумав, назвал себя.

— Ну вот! Хорошо. Не за горами и Никола, — сказал он.

— Мой Никола — зимний, в лютые морозы, оттого и не везет, — ответил ему тут же я и подумал: "Может, отвяжется?"

Он, чуть усмехнувшись, проговорил:

— А я Петр Фомич! Стукнуло за пятьдесят. Второй срок коротаю — правда, с перерывом.

"Пружина" моей предосторожности чуть дрогнула, немного отпустила, но тут же снова сжалась: я в такие разговоры с незнакомыми не вступал. И, чтобы как-то избавиться от него, стал копать в котомке. Достал завернутый в кисетик табачок и стал крутить сигарку. Он поглядел на меня и застенчиво спросил:

— А меня не угостишь?

"Вот черт! — подумал я. — Как же не сообразил, что и он, может, курящий". Делать нечего — отсыпал на закутку, дал клочок бумаги. Подумал: "Очень навязчив. Не к добру это!"

Пока он приготавливал "закутку", я лихорадочно думал, как же избавиться от него. Сразу надо было уйти... А куда теперь? Может, и места все заняты. А уйдешь отсюда и это потеряешь. Затянувшись, Петр Фомич сказал:

— Ах, хорош табачок, пахучий. Душу так и обволакивает.

Я же тоскливо подумал: "За этот табачок я штаны променял, что в посылке прислали". Ему же ответил:

— Да уж кончается (это, чтоб впредь знал, что выпрашивать у меня больше нечего).

— Ну, ничего, — так же миролюбиво ответил он. — Курение — это ведь большой вред. Меньше покуришь, здоровее будешь.

"Ишь ты, успокоил, — подумалось. — Взял бы да и бросил", — рассуждал про себя я. А сам горевал: "Сколько раз пытался отвязаться от этой противной привычки и никак не мог одолеть пристрастия". И, как бы утешая себя, решил: вот выкурю весь, тогда и брошу. На душе от таких мыслей стало спокойнее.

А Петр Фомич не унимался: спросит то про одно, то про другое. Когда же спросил у меня, за что посадили, я ответил, что не люблю про это рассказывать. "Кому же приятно о таком говорить", — сказал он и замолчал. После моего не совсем вежливого ответа он затеял разговор с пожилым и мрачным мужиком, что был от него на противоположной стороне нар. Но тот, не долго утруждая себя его пространными рассуждениями, попросил "отвязаться со своими байками".

Петр Фомич был очень любезный и общительный человек. Он с каждым легко и просто вступал в разговоры, но, будучи чересчур велеречивым, быстро надоедал. Немного помолчав, он снова заговорил со мной. Своими изысканно-вежливыми обращениями вызвал у меня озлобление. Я не утерпел:

— Ты говори со мной проще: у меня уши привыкли к грубым словам.

Тем не менее он не производил впечатления "ушибленного пыльным мешком", хотя в его рассуждениях не всегда можно было разобраться.

Порой, видя, что его никто не слушает, особенно перед сном, начинал рассуждать сам с собой.

День прошел в постоянных хлопотах. То сначала начали собирать всех, чтобы увести в другой барак и там накормить, затем разбили на группы и из каждой отобрали людей, которых отправили за хлебом и баландой.

Никак не могли организовать и потому только к вечеру закончили раздачу уже остывших щей с пайками хлеба.

В этой кутерьме многим ничего не досталось, и оттого в бараке стоял гвалт невыносимый. Я, как помоложе и проворнее, быстро притащил себе и хлеб, и обед, потом сбегал и для Петра Фомича (пусть сидит, за котомкой смотрит). Вечером, когда стемнело, Петр Фомич, немного посопев носом (видимо, и его сморило, прошлую ночь совсем не спал), заворочался и спросил:

— Отбой-то был уже?

— Отбоя еще не было, — ответил я. — Слышишь, в том углу еще дерутся из-за портянки два ученых...

Петр Фомич после некоторого молчания, как бы для себя, начал рассуждать:

— Говоришь, ученые из-за портянок разодрались? Ничего не поделаешь, тоже люди. Не тот пошел брат заключенный. Какие-то все плюгавенькие. Статьи у многих страшные. Одни за террор сидят, других за диверсию посадили, третьих за измену. А на деле многие курицам головы боялись отвернуть, а уж людям никому никакого вреда не принесли.

В первый срок со мной более солидные сидели. Уважение к ним было иное и от простых смертных, да и крупные "блатари" относились почтительно. А настоящих революционеров видеть довелось еще до революции в Вологде. Оттуда я сам. Много тогда их было в наших краях.

Петр Фомич глубоко вздохнул, поворочался немного, засопел носом. Я отвернулся и тоже заснул. Утром, как только раскрыл глаза, Петр Фомич уже с вопросом:

— Отдохнул немножко или еще продолжишь?

Я чувствовал, что он подсмеивается надо мной (спал я часов десять, не меньше), и потому отвечал ему:

— Дрыхнуть без конца плохо: навидишься всяких снов и мучайся потом в раздумьях, а вдруг такое случится наяву?

— А ты вроде бы суеверный? — снова мучает вопросом Петр Фомич.

— Суеверный — не суеверный, а когда видишь плохие сны, то на душе всегда муторно, — отпарировал я.

Мне он очень надоел (я больше люблю тишину и покой), но от него не так просто было отвязаться. И я стал приспособливаться. Как только у него появлялся небольшой перерыв в разглагольствовании, я тут же закрывал глаза и начинал притворно сопеть носом: пусть думает, что уснул. Он замолкал. Но стоило чуть приоткрыть глаза, он тут как тут, с каким-нибудь вопросом. И так длилось постоянно, изо дня в день. Особенно активен и многословен Петр Фомич становился перед сном. Его очень часто донимала бессонница.

### Опасная философия

Оставаться с назойливыми мыслями одному не хотелось. Однажды, видя, что я еще не заснул, Фомич как бы между прочим, скорее сам для себя, начал ворошить дела давно прошедшие. Рассуждал о меньшевиках с Плехановым, об эсерах с Савинковым, затронул Ленина.

Из его разговоров я понял, что знал он много. Много наслышан я был о них за долгие годы и от других политзаключенных. Говорили развязно, по-разному, и оттого непонятно было, кто врет, а кто говорит правду. Чего было бояться? Никого из них уже не было в живых, судачили и о других. Никто никогда не упоминал в своих разговорах только Сталина.

При упоминании его имени в душу каждого произвольно вползал леденящий страх. И в такие разговоры, а тем более споры с Петром Фомичем, да еще в присутствии других заключенных, я не вступал. Лишь иногда, как бы сомневаясь в чем-то, покачивал головой.

В душе-то мне хотелось быть с ним пооткровеннее, даже поспорить. Его смелые речи вызывали у многих симпатию, но где-то в глубине “чуткий червячок” как бы предостерегал меня: не лезь со своими мнениями да суждениями.

Напоролся уже один раз. Мало ли таких “доброхотов”! Начни им поддакивать да разглагольствовать, а потом вызовет “опер” и тихонечко спросит: “Опять недоволен советской властью?”. Были такие случаи с некоторыми людьми, слышал я про это. Правда, сроков не добавляли. Но ведь как знать? На кого нарвешься.

Наговорившись вдоволь и убедившись, что из меня собеседник в политике неважный, Петр Фомич умолкал. Я из любопытства спросил у него:

— А ты кого-нибудь из этих революционеров видел? Ленина, Плеханова, Савинкова?

Он ответил коротко:

— Нет, не видел. А вот в обеих партиях — и у меньшевиков, и у эсеров — состоял. За это и расплачиваюсь перед советской властью.

Я заметил:

— Некоторых эсеров и меньшевиков советская власть вообще не преследовала. (Слышал еще на Лубянке. Сидели там ему подобные.)

— Ну, у меня особая “заслуга”, я участвовал в Ярославском восстании, — сказал Петр Фомич.

Настороженность к нему стала таять. Спросил:

— В Вологде-то ты долго прожил? Я слышал, что царское правительство ссылало в те края Савинкова?

— До двадцати лет прожил там, правда выезжал часто, но не надолго. А перед самой революцией переехал в Петроград совсем. Жаль, конечно, что не довелось встретиться с Борисом Викторовичем. Незаурядный был человек, как мне показалось, — с тихой грустью сказал Петр Фомич.

Мне захотелось его немного подбодрить:

— Ну, не тужи, а то бы больше дали.

— Да уж и так под самую завязку влепили, — сказал он и умолк.

Мне от этого сразу стало не по себе. Я же знал, что Петру Фомичу во второй раз присудили пятнадцать лет.

После некоторого молчания Петр Фомич спросил:

— Что-то ты уж больно молчалив, ни слова о себе, ни вдоха о политике. Или ты ничего не смыслишь (что не очень похоже), или все вылетело у тебя из головы?

Я коротко рассказал о своем и добавил:

— Вот потому и молчу, что уж больно крепко засело в голове, за что посадили и срок дали.

Немного посмеявшись, он больше к разговорам на политические темы не возвращался.

Время шло. Дни мелькали один за другим. Люди успокоились и совсем мало стали судачить о предстоящем этапе. Некоторые начали выдавать свои сокровенные чаяния:

— А может, никуда и не повезут? Возьмут да и возвратят на прежние места.

— Ну, куда там, — говорили другие. — Так вам и будет, как хочется. НКВД пустяками не занимается. Раз собрали такую громаду людей, значит ждут где-то нас “большие дела”.

Как-то раз, когда уж и говорить-то было не о чем, после обеда, развалившись на нарах, я сказал Петру Фомичу:

— Ну, чем не жизнь? Спим и едим. Хоть не важнецки, но с голоду не умираем. И главное, на работу не тревожат, который день бездельничаем. Так можно и до конца срока сидеть.

Петр Фомич долго молчал. Я уж подумал: “Не заснул ли?” Как вдруг он, не поворачиваясь, сказал:

— А вот такие мысли у людей — самое страшное зло. Труд — это величайшее благо, которое дано человеку всевышним Провидением. Без этого не нужна жизнь.

С этим я никак не мог согласиться и запальчиво сказал:

— Я чуть копыта не отбросил и в ящик не сыграл от такого блага — четыре года назад на стройке аэродрома. По двенадцать часов, полураздетый, возил в конце октября тачку с раствором бетона, глаза на лоб вылезали, а в ногах сплошной огонь, а ты мне — благо, да еще величайшее! Нет уж, не принимаю твои философские разглагольствования.

Петру Фомичу, видимо, понравилась моя запальчивость. Нисколько не рассердившись, ровным голосом продолжал свои размышления.

— Так ведь это подневольная, каторжная, непосильная работа. Оттого она, кроме отвращения и страха, ничего не

дает. Вот ты сейчас съел пайку хлеба, и ничего. А если заставить тебя сейчас съесть три каравая? Ведь не сможешь. А если через силу затолкаешь, то как себя почувствуешь?

— Съем, — сказал я, — и сразу же спать завалюсь.

Засмеялся он и опять наступает на меня:

— А пять? Во всем должна быть мера, и только тогда человек обретает удовольствие физическое и удовлетворение моральное. Жизнь для нормального человека невысказана без труда, даже самое короткое время.

Я не был с ним тогда согласен, может, уже из упрямства, но спорить не стал: пусть будет по его. Зачем попусту тратить силы и нервы, впереди всех нас ждет много трудностей.

### Путь на Красноярск

В конце мая, в самый разгар весны, тихим теплым вечером собрали колонну заключенных около 1000 человек. С ними попали и мы с Петром Фомичем. Вывели за город, на пустырь, где на отдельном железнодорожном пути стоял состав товарных вагонов. Надо отдать должное: порядок, согласованность и дисциплина в таких операциях у конвойной службы были отработаны отменно.

Как только подвели нас близко к составу, трое конвоиров подошли к головной части, отсчитали несколько пятерок и тут же повели эту группу к первому вагону.

Еще не дошла она к месту посадки, сразу отсчитали такое же количество людей и повели (уже другая тройка конвоиров) вслед за ней к другому вагону. Вся колонна была разделена очень быстро.

Немного застопорилась посадка в вагоны: некоторым заключенным было трудно подниматься по приставным лестницам, да еще с вещами. Но и это ненадолго сбilo темп операции: забравшиеся в вагон помогали залезавшим. Я заскочил почти первым и сразу же занял два места на нижних нарах. Для себя и Петра Фомича. На верхний ряд я не полез. Эти места по неписаным законам предназначались для "привилегированной" блатной элиты.

Займешь, а потом появятся эти ухари и сгонят на пол к "параше".

На самом же полу, под нарами или посередине вагона, места доставались наиболее тихим, слабым и последним. Впрочем, многие из них были довольны этим: не надо тратить силы для вскарабкивания на нары, да и к "параше" поближе.

Вскоре забрался в вагон Петр Фомич, и мы стали укладываться.

С другой стороны от меня, у самой стенки вагона, угнезвился молодой парень. По облику — уроженец Средней Азии. Но какой нации, так у него мы и не узнали. То ли казах, то ли калмык, он и сам-то не знал. Назвался Кирсаном. Пока шла посадка, он у каждого залезавшего выспрашивал, не видал ли тот Абдулу. Одни отмахивались: до него ли теперь, другие посылали к хорошо всем знакомым "предметам постоянного пользования".

Когда закрылись за последним заключенным двери, Кирсан растянулся на своем месте и тут же захрапел, прямо мне в лицо.

Я-то уж разлежусь раньше, чем он. Тут же, не раздумывая, разбудил его и предупредил, что если он будет фырчать мне

в ухо, то я ему ноздри заткну. Он не обиделся, только проговорил:

— Что же, в ширинка хырчать, что ли?

Отвернулся к стенке вагона и тут же заснул снова. Гомон понемногу утих, остальные тоже разлеглись. Кто подложил под голову мешок, котомку. Другие — верхнюю одежду.

Я разлежусь на телогрейке. Котомку положил под голову. Бояться, что украдут, не надо было, — в вагоне не сбудешь.

Наступила тишина. Только кое-где снаружи вагонов перекликались конвойные, да иногда слышались короткие разговоры. Но вот далеко впереди состава протяжно прозвучал паровозный гудок, натянулись сцепки, громыхнули буфера. Поезд тронулся. Мерно застучали колеса на стыках рельсов. Вагон начал вздрагивать и покачиваться.

Поехали. Поезд шел, все больше набирая скорость.

Ночь. Темнота, хоть глаз коли. Тишина. Одни спят, другие перебирают в мыслях то, что давно уже прожито, и думают о том, что будет дальше.

Проснулся от звяканья мисок, поварешек и громкого разговора. Поезд стоял. Двери вагона были раскрыты, возле них толпились заключенные. Снаружи слышались окрики:

— Что застрял, как привязанный? А ты, дохлак, отваливай быстрее! Вам только жрать да дрыхнуть, а нам вон какую ораву накормить надо, пока весь состав пройдем. Давай живее, погань несчастная!

Весь разговор пересыпался такой заковыристой матерщиной, что захочешь повторить, а выговорить не сумеешь.

Это "бытовички" с малыми сроками разносили по вагонам обед (завтрак выдали еще вчера сухим пайком в лагере перед отправкой).

Рядом со мной никого не было. Я встрепенулся. Черт побери, чуть не проспал.

И Петр Фомич что-то не разбудил.

Схватил котелок и тут же пристроился позади сгрудившейся толпы. После обеда снова решили поспать.

Но сон уже не шел. Петр Фомич спросил:

— Что-то и тебе не спится? Ну, это не беда. Еще хватит нам для этого времени. На восток едем, путь предстоит не ближний. Долго будем ползти в нашу "тмутаракань".

— Куда? — спросил я.

— А кто знает, — ответил он.

Иногда поезд останавливался не только для кормления. Его загоняли, как правило, ранним утром, в какие-то отдельные тупики. В таких случаях нас выводили поочередно из вагонов, чтобы проветрить их. Ненадолго, минут на пятнадцать.

Один раз в неделю люди в белых халатах забирались внутрь и делали дезинфекцию. Посыпали в углы и вдоль стен какой-то порошок, отчего потом все долго чихали.

В самом конце состава в двух вагонах везли женщин. Их выводили чаще и всегда дольше держали на улице, чем нас.

Мы отваживались спрашивать у конвоиров, куда же нас везут. Те отвечали однозначно: не велено разговаривать. Может, они и сами толком не знали.

Такое однообразие начинало надоедать, исчезли всякие интересы. Петр Фомич на второй день заметно стих. Да и говорить-то уже было не о чем.

Как-то раз, ближе к вечеру, когда дневное томление отступило, а для сна еще время не подошло, Петр Фомич справил у меня:

— А ты в бога веришь?

Я даже поперхнулся:

— Ты что? Сейчас старуха и то не каждая крестится, — ответил ему, а сам подумал: “С чего это ему взбрело? Уж лучше про политику затеял бы снова”.

Он, видимо, уловил мое смущение, миролюбиво, чтобы успокоить меня, сказал:

— Не бойся! Тебя, как я понимаю, из комсомола выперли сразу же, как НКВД взяло под свою “опеку”. Так что критиковать за молитвы и богоугодные разговоры тебя сейчас некому. А энкавэдэшникам нет заботы: веришь ты в Господа или нет. Им это все равно. Так что на эту тему можешь беседовать со мной побойчее (видимо, он догадывался, что я его, а скорее всего, подобных суждений, остерегаюсь).

Мне уже вдруг показалось, что он меня за труса принимает (хотя так и было на самом деле, душа-то тряслась, давно уже шла вторая половина срока). Тогда, чтобы не уронить себя окончательно в его глазах, я решил вступить с ним в полемику и с пристрастием спросил:

— А откуда ты знаешь, что бог есть? Чем докажешь?

До этого я сам никогда не задумывался, говорят: нет бога — значит, так и надо.

Петру Фомичу нравилось спорить, и, не дав выговорить и слова, он снова заговорил:

— Так что, по-твоему, все на земле и на небесах крутится и вертится само по себе? Утром всходит солнце, вечером заходит. По ночам появляется луна, загораются звезды. Да разве все перечислишь?

Это было не для моего разума (на какой черт буду ломать себе голову, я и в школе с уроков естествознания и астрономии убегал при первой возможности). Но тем не менее, чтобы не показаться ему совсем неучем, ответил: “Природа все и творит”.

— А в природе, — снова спросил он, — тоже все без осмысления свершается?

Я явно не мог ему противостоять. Не зная, как вывернуться, огрызнулся:

— А сам-то ты в бога веришь?

Чуть помолчав, — видимо, не хотел совсем загонять меня в тупик, — ответил:

— Конечно, нет, не верю я в бога.

Я облегченно вздохнул:

— Что же ты мне голову-то морочишь? Тут и без этих голволомов все мысли в сплошной суматохе, а ты пустяковые вопросы задаешь?

Он усмехнулся. Мне его усмешка показалась обидной: что он меня совсем за несмышленища принимает? Слава богу, тоже шестой год по лагерям мотаюсь. Повидал умных людей. Кое в чем научился разбираться, хотелось сказать что-нибудь поострее. Но он опередил меня:

— Нет, дорогой! Это и есть самый серьезный вопрос, из-за чего все беды людские на земле. Ты прав! Такого бога, что рисуют на иконах, не существует. Это придумали люди от своего бессилия и безысходности. Но то, что в необъятных космических пространствах, бесконечном звездном мире действует и все определяет неведомый для нас вселенский разум, — этого нельзя отрицать, так же, как и нельзя

утверждать (ибо не дано нам постичь помыслы его), узнать, в каких он является формах, где витает и какими мерилками управляет.

На такие темы я никогда ни с кем не беседовал, подобных измышлений ни от кого не слышал. Меня это заинтересовало. Видя, что я умолк и прислушался, Петр Фомич продолжал:

— Ему подвластны все земные и небесные законы. Он их определяет, устанавливает, совершенствует и изменяет по своему усмотрению (хотению). Сила этого разума беспредельна, и мыслит он совсем другими категориями, чем мы. Для него нет ни времени, ни пространства. У него не было начала и не будет и конца. Он вечен и вездесущ. В мудрости его творений наши познания настолько ничтожны, что нельзя их сравнивать даже с бесконечно малыми величинами. Тайны самых близких явлений нам так же недоступны, как тайны самых далеких миров. И никогда не разгадаем мудрость, для чего появились мы на этой земле, для чего живем, зачем живем.

Над этим таинством самые умные люди многие века ломают головы, но ничего не разгадали. Сотворив людей, он наделил их разумом, но ограничил круг познаний. И сколько бы люди ни стремились разорвать этот круг, за грани дозволенного им никогда не переступить. Прав был Сократ, сказав: “Я знаю, что ничего не знаю”.

Вероятно, Петр Фомич говорил это не столько мне, сколько рассуждал сам с собой. Я, выбравшись из тенет его суждений, с сомнением спросил:

— По-твоему, выходит, что если ему (тому разуму) вздумается нас прихлопнуть, то для него это сделать легче, чем мне придавить комара?

— Не знаю. Но думаю, что да, — ответил он на мое замечание. — Но ты над этим не ломай голову и не тревожься зря. Пока мы (люди) нужны Ему в Его неразрывных цепях Мироздания, будем жить. И, может, еще много тысяч лет, — закончил он и замолчал.

Я тоже замолчал, а сам опять подумал: “Лучше бы говорил о чем-нибудь житейском. А то в голове один сумбур от его философий”.

## Пастыри и бараны

Кирсан у стенки заворочался. Оказалось, он тоже прислушивался к высказываниям Петра Фомича. И хотя толком ничего, видимо, не понял, так же, как и я, захотелось ему вступить в беседу. Не поворачивая головы, глядя вверх, заговорил:

— Наш святой молла Абдулы едит этапу вместе с нами, только другая вагону. Со мной одна камеру Казан турма сидела. Каждая утром и перед ночи голым коленка ставал. Головой полу молил, молил, тиха, тиха шаптала, все просила, просила. Абдулы никого ничего не вуровал! Со равно полный “катушек” получал. Мой ночам совхозный баран таскал, мясу кушил, шкуры прятал, никому не молил, никому не просил, только три года давали. Нету облакам святой алах, есть по всему земли только Нукавиды.

Петр Фомич рассмеялся и похвалил:

— Молодец, Кирсан, хорошо сказал, аксакалом будешь. Кирсан удовлетворенно осклабился.

Я разозлился:



— Этот Кирсан нажрался впрок совхозной баранины, оттого до сих пор дрыхнет по ночам, как зарезанный. Позавчера так надоел своим храпом, что какой-то урка с другой стороны вагона с верхних нар запустил ботинком. Метил в него, а попал мне в плечо. Хорошо, что вскользь угодил, а если бы напрямую по башке? Я спросонья вскочил и затылком о верхние нары стукнулся, да так, что доски зашевелились. Наверху надо мой жулик дремавший промычал: "Что ты все ворочаешься. Спустишь, сусалы поправлю". А я и сказать-то не могу ни слова. От удара головой о доски круги пошли в глазах. А Кирсану хоть бы хны. Знай, храпит. Одни неприятности от этого "аксакала".

Петр Фомич рассмеялся еще больше, а Кирсан, довольный, улыбается во весь рот.

Сказал только:

— Твоя тоже крепкий спит.

В таких разговорах проходило время. Ничто так не сблизает людей, как длительная поездка в поезде, да еще когда у всех одинаковые горести и заботы. А поезд уходил все дальше на восток, увозя в вагонах многие сотни людей. Мелькали полустанки, станции, вокзалы, а между ними деревушки, поселки, поля, леса, перелески. Все оставалось позади.

К этому времени я с Петром Фомичем разговаривал уже довольно дружелюбно и доверчиво. Покуривали вместе — табачок у меня еще был. В тот-то раз я слукавил, сказав, что заканчивается. Теперь же делились по-дружески.

Как бы между прочим давали друг другу советы, обещания. Советовал больше он, как более опытный. Договорились, что в новом лагере надо держаться ближе друг к другу. Так спокойнее. Мало ли какой люд впереди встретится. Приглашали в нашу компанию и Кирсана. Тот отказался: "Абдул буду находить".

Через несколько дней остановились в Красноярске. Состав загнали куда-то в отдельный тупик. Высадили всех и прямо оттуда увезли в Злобинский пересыльный пункт. Женщин запустили в зону первыми. За ними начали пропускать и нас.

Здоровенные мордвороты-нарядчики орудовали быстро. Ловко отделяли небольшие группы, отмечали в списках и разводили по баракам (видимо, во всех лагерях одни повадки). С одной из таких групп увели и Петра Фомича. Как ни старался я попасть вместе с ним, ничего не получилось. Лез нахально за ним. Ну, куда там! Оттеснили с матом:

— Хватит, не лезь... По скуле захотел? Пойдешь с другими.

Упрашивал. Бесплезно. Разговаривали мало. Больше матерились. Ни на какие просьбы внимания не обращали. Уже глубокой ночью завели всех. На следующий день я пошел разыскивать Петра Фомича по зоне.

Бараки были большие, просторные. Но к нашему прибытию их почти полностью заселили заключенными из других лагерей и колоний. Долго искал. Наконец, нашел. Он оказался от меня в третьем ряду бараков. Когда увидел его, очень обрадовался: хоть один знакомый среди такой массы людей. Он тоже был доволен.

Закурили. Я стал присматриваться: может, отыщется местечко. Ну где там! Все было занято. Потужили немного. Договорились, что днями я буду приходить к нему, а ночью-то все равно, где спать.

Так и поступили. Режим в Злобинском лагере был, как и во всех. Отбой и подъем в те же часы. Завтраки, обеды, ужины в тоже время. Кормили регулярно.

Женщины от своего отгороженного барака ходили свободно по всей мужской зоне, пробирались к знакомым мужикам. Правда, это запрещалось, но надзор не обращал на них никакого внимания. Когда-то женские бараки были обнесены низким дощатым забором с вахтой. Но со временем забор мужики разобрали, и теперь торчали столбы с прибитыми к ним поперечинами, и то несколько изломанными. Вахту тоже обшипали. Это сделали сами вахтеры, чтобы топить печку, когда дров не оказывалось. По-прежнему сидели вахтерши (из заключенных женщин). Но все это носило чисто показной вид. Так, ради заведенного ранее порядка. Выходить и входить можно было в любое время, так что в мужской зоне было полно женщин, а в женской половине — мужиков.

### Стычка

Одно было плохо: ворье одолело. Неимоверно много сбралось его с разных этапов. Какой только шпаны не было! Донимали простых работяг до невозможности. Не брезговали ничем, тащили все, что только можно было перепродать на волю.

Если не украдут ночью, отнимут днем. У меня ничего ценного не было, кроме казенной одежды. И спал я в ней, не раздеваясь. Потому без всякой тревоги уходил со своего места: котомку через плечо и пошагал, куда вздумается.

Петр Фомич тоже был "нищ и наг". Мы собирались утром и свободно разгуливали по всей лагерной зоне. А она была довольно большой. Места — не застроенного — было еще много.

Как-то раз, направляясь к выходу из барака, Петр Фомич указал на нары, где, безмятежно раскинувшись, в расстегнутой военной гимнастерке, лежал рослый, могучего сложения молодой мужчина.

— Староста наш, — ласково проговорил Петр Фомич. — Андреем зовут. Фронтовик. Молодой, а серьезный. У него много не забалуешь. Утихомирил весь барак, шпана боится его пуще огня.

Мы вышли, а мне почему-то еще долго виделся спокойно отдыхающий добрый молодец.

Как-то раз зашел к Петру Фомичу. Он что-то прихворнул, и разговор не клеился. Я собрался уходить, чтобы не докучать больному, и уже стал прощаться, как вдруг услышал на верхних нарах какую-то возню.

— Опять шакалы нагрянули из других бараков. Старик посылочку получил, вот и тискают его, на "шарап" берут. Шпана, настоящая шпана. Серьезные воры такими делами не занимаются, — сказал Петр Фомич и закашлялся.

Шум нарастал. Шакалье стало одолевать старика, и тот заорал:

— Я в ваш "котел" половину отдал, вы не по закону поступаете.

Крики растревожили Андрея. Он поднялся. Не очень громко, но так, что хорошо было слышно, приказал:

— А ну, шпана, оставьте старика в покое...

Может, лиходеи не расслышали, увлекшись грабежом. Или просто не прореагировали на его слова и продолжали

свое дело. Старик еще отбивался (видимо, крепкий был) и кричал все сильнее. С других нар тоже закричали:

— Сволочи, пришлые, уходите в свои бараки.

Андрей не спеша подошел к сгрудившимся “чужеземцам”. Схватил первого, что был поближе к нему, одной рукой за штанину, другой за шиворот и швырнул, словно куль с тряпьем, в проход к двери. За ним тут же полетел второй. Двое оставшихся, словно мыши, перепрыгивая через сидящих и лежащих заключенных, разбежались в разные стороны. “Шарап” не удался.

Андрей отошел к своему месту, оперся спиной о полати верхних нар — голова его намного возвышалась над ними — и, обернувшись в сторону барахтающихся на полу и матерящихся грабителей, сказал:

— Еще раз приползете и станете так же хулиганить — башки поотрываю.

Я смотрел на него с уважением. Подумал: “Ну и здоров! Такой во гневе весь барак разнесет. Повышвыривает всех вместе с нарами. Настоящий “Самсон”!

Кряхтя и стоная, разбросанные “шакалы” стали подниматься. Один, более “заблатненный”, выпрямившись, со злостью выговорил:

— Ну, гад власовский, привык с немцами наших душивать, так и здесь думаешь по-своему править! Попадешься еще нам!

Этого Андрей не стерпел. Быстро пошел в сторону говорившего. Тот решил показать характер: достал нож. Но это не остановило Андрея, и он еще решительнее стал надвигаться на “представителя семейства кошачьих”. Кто-то из подельников закричал:

— Фиксатый, рви когти, пока живой!

Тот и сам уже успел сообразить, что этот богатырь не останется перед угрозой, начал проворно пятиться, развернулся и хотел шмыгнуть за дверь, но было поздно.

Андрей подскочил и с такой силой двинул Фиксатого ногой ниже спины, что тот вылетел через проем двери и растянулся на приступках. Андрей подошел, взял его за воротник, с презрением и угрозой сказал:

— Ну что? Примолк? Я не таким фашистам глотки рвал, а тебя ткну сейчас по “кумполу”, и сразу с ними на небесах встретишься.

— Отпусти, — взмолился Фиксатый. — Мы больше не придем.

Как правило, подобные “шарапки” трусливы. В одиночку не нападают. Когда же их много и перед ними слабый человек, ведут себя нагло и жестоко. Перед силой сами исчезают незамедлительно.

— Иди! В следующий раз попадешь, тресну по башке, мозги разлетятся, никакая молитва не спасет! — пригрозил Андрей.

Хромая на обе ноги, под смех и улюлюканье заключенных посрамленный Фиксатый побрел прочь в свои “апартаменты”.

Андрей поднял нож, засунул лезвие в щель между дверью и косяком. Надавил на излом. Сталь хрустнула. Поднял упавший обломок и вместе с рукояткой бросил в “парашу”. Петр Фомич, наблюдая за этой сценой, сказал:

— Как все разумно предопределено в мире: умные и сильные рождены, чтобы указать путь и защитить слабых. Только плохо — немногие так поступают. Большинство избранных делают совсем наоборот!

На следующий день я не пошел к Петру Фомичу. Не хотелось тревожить больного. Пусть отлежится.

Утром следующего дня проснулся рано. На душе было как-то тревожно. Еще с вечера запало раздумье: “Надо бы сходить, болеет ведь человек, поговорили бы хоть немного, глядишь — и полегчало бы ему”.

Не мешкая, сразу после завтрака отправился.

Погода выдалась на редкость приятной. Солнце ослепительно сияло, небо без единого облачка, кое-где проплывут небольшие одиночные облака и тут же растворяются в небесной синеве...

Еле заметный ветерок чуть обдувал лицо.

Зайдя в барак, не увидел Петра Фомича на своем месте. Спросил у соседа. Тот сказал, что еще позавчера вечером увезли в больницу с большой температурой, совсем был плох. Больница была где-то за зоной, в каком-то другом лагере.

Потужил, поохал. Что тут поделаешь? Покорил себя в душе и вышел на улицу.

## Петля

Начала подступать хандра: длительное безделье угнетает.

Немного похаживая по зоне, направился к главной вахте. Там в дневное время всегда собирались люди. Одни — чтобы просто полюбопытствовать, другие ожидали своих родственников или знакомых. К вахте было пристроено небольшое помещение для свиданий. Я ходил туда часто, чтобы разузнать хоть какие-то новости.

Внезапно вывернулся из-за угла барака Кирсан:

— Твой еще тут? — спросил он.

— Как видишь, здесь, — сказал я.

— А мой, наверное, куда-то етапу не увезут, срок маленька, — радостно проговорил он.

Я опять подумал: “Счастливым, черт!”

— А наша святая молла, — опять затараторил он, — бабий уборна ночам вешался. Молоденький бабеночек утречки раненько пошел уборна своим делам. Дверь открывал, входил, потом как скачит назад шумом. Кричал, кричал громко: вешал, вешал. Охраны скоро, скоро прибежал, смотрел, а Абдулы уже все глаза лоб катила.

Я еще вчера из разговоров слышал, что кто-то из заключенных повесился. Теперь из сумбурного и сбивчивого рассказа Кирсана понял, что это был его друг, мулла Абдула.

Спросил у него:

— Что же он так?

Неунывающий Кирсан охотно рассказал:

— Как только Абдулы узнала, что его холодную сторону гонять будут, сделалась сразу очень грустна, грустна. Два дня углы в углы ходила печальна, печальна, все думала, думала. Тиха, тиха говорила сама себе, свой носу. Потом искала веревку. Крутила веревка, тихонь темноты ночи пошла уборна. Ставал ногами бабий сиденья, одна конец веревки крепил доскам потолок, другой конца голова сунул...

Кирсан рассказывал так, будто сам стоял рядом с муллой.

— Потом, — вдруг стрельнул глазами по сторонам, попытался состроить страшное лицо, шумно выдохнул: — Рык! Прыгал Абдула и сразу стала готовенька. Вышла дух Абдулы, нет теперь Абдулы, улетел облакам.

Закончив, посмотрел на меня вопросительно: хорошо ли рассказал, понял ли?

Я посмотрел на него, и мне показалось, что у него такое же выражение лица, словно он вспоминал про баранов, что воровал в совхозе — ни один мускул не дрогнул.

### Любовь — и за "колючкой" любовь

У вахты уже стояла довольно плотная толпа заключенных. Я протиснулся сквозь нее и стал рассматривать, что "на воле, за бортом творится".

Сквозь железные решетчатые ворота все просматривалось очень хорошо. Мое внимание привлекла молодая женщина, беспешно прохаживавшаяся по противоположной стороне дороги, что проходила рядом с вахтой и тянулась вдоль всего забора. Сделав немного шагов в одну сторону, она поворачивалась и шла обратно.

При каждом повороте задерживалась на какое-то мгновение и всматривалась через головы заключенных, стоящих возле вахты, в глубь лагеря. Ровная походка, плавность движений, невозмутимое спокойствие в окружающей ее обстановке как бы подчеркивали в ней твердую уверенность и независимость.

Своим поведением и манерами она значительно отличалась от сидящих на обочине дороги других женщин, ожидавших свидания со своими родными или близкими.

Некоторых из них я уже приметил. Они приходили и раньше, а я каждый день торчал у вахты из-за простого любопытства. Ждать мне было некого. Эти женщины, вероятно, жили в самом Красноярске или где-то поблизости. Оттого и навевались почаще. Эту же я видел впервые.

На ней были простое платье, легкий летний пиджачок, ноги плотно обтягивали мягкие сапоги. После войны так одевались многие женщины. Видно было, что незнакомка очень недурна собой. Густые, каштанового цвета, волосы тяжелыми волнами ниспадали на спину и плечи. Она была выше среднего роста, стройная, с грациозной осанкой и фигурой под стать балерине. Римский профиль как бы подчеркивал ее строгую недоступность. Мне показалось, что она из какого-то не нашего, неведомого мира. Словно чужестранка.

"Наверное, ожидает кого-то из лагерного начальства, может, самого "опера", — почему-то подумалось мне. И интерес как-то сразу поник и к ней, и ко всему, что было вокруг.

Я уже хотел выбраться из толпы праздно глазающих заключенных, как вдруг заметил, что женщина резко остановилась, круто повернулась, легкими быстрыми шагами, чуть ли не бегом, подошла вплотную к воротам (закралась тревога: сейчас отгонит ее вахтер, уж больно близко подошла). Сквозь большие решетчатые просветы она была хорошо видна.

Как высеченное из мрамора, с чуть заметным румянцем, лицо, правильной формы, тонкий нос, маленький подбородок — все это делало ее неотразимо обворожительной. Расплывшаяся радостная улыбка обнажила ровный ряд белоснежных зубов, верхняя губа немного приподнялась, отчего кончик носа чуть вздернулся и делал ее похожей на большого ребенка, который от нахлынувшего счастья захлебывается от восторга. Большие, широко расстав-

ленные, темно-синего цвета глаза излучали очарование и казались такими бездонными, будто в них утонул весь мир. Задорно, по-мальчишески вскинув руку, она громко закричала:

— Андрюша, эгей, я здесь!

Стоявшая со мной рядом пожилая, с приятными манерами, женщина удивленно, с восхищением произнесла:

— Господи! До чего хороша! Бывают же такие!

Чуть поодаль сзади меня раздался ровный мужской голос:

— Вижу, Оля, вижу тебя! Как вышел из барака, сразу заметил...

Я обернулся на голос. Сквозь расступавшуюся толпу людей пробирался Андрей. Тот самый "Самсон", что защитил недавно старика. Ни на кого не обращая внимания, он продолжал:

— Вчера в комендатуре сказали, что ты придешь сегодня. Я уже два раза был здесь. И все равно опоздал. Все, как всегда: дожидаться меня приходится тебе.

— Андрюша! — заговорила Ольга. — Ты иди на проходную, а я сейчас захвачу сумку, тут совсем рядом, и туда же к тебе приду.

Она заторопилась к стоявшим за дорогой женщинам, а Андрей пошел к вахте в комнату для свиданий. Толпа любовно смотрела на них. Я еще немного постоял, выбрался из толчи и побрел в глубь лагеря. Немного побродил, потом выбрал местечко подалее от бараков (в Злобинской пересылке удивительно много было незастроенных площадей), положил под голову телогрейку и разлегся на траве.

По небу медленно плыли редкие облака. Я считал их зачем-то и думал: "Доплывут они до далекого Подмосковья или растают где-то за Красноярском?"

Так, в раздумьях и забытьи, лежал, пока не натянуло тучи. Начал накрапывать дождь.

Идти было не к кому. Страшно чувствовать и сознавать себя одиноким в огромном людском море. Пошел к себе в барак. Поздно вечером нарядчики с надзирателями начали собирать заключенных на этап.

*Продолжение следует.*

## Казимир ЛАБАНАУСКАС

*Родился в 1942 году. Работает главным специалистом по фольклору Таймырского окружного Центра народного творчества.*

*Является составителем серии сборников "Фольклор народов Таймыра", изданных в 1993 — 1997 годах.*

*Печатался в ряде изданий, в том числе в альманахе "Полярное сияние" 1996, 1997 годов.*

*Живет в Дудинке.*

### ЗВЕЗДНЫЕ МИФЫ В ЭНЕЦКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Эпические произведения устного народного творчества энцев делятся на две категории: сюдобичу и дёречу. К сюдобичу относятся произведения, которые повествуют о богатырях, сражающихся из-за знаменитых красавиц или по мотивам мести. Дёречу же представляют собой рассказы о прошлом энецкого народа, о материальной и духовной культуре, социальном строе и верованиях энцев. Сюда относятся различные мифы о происхождении богов и первых людей на земле, о тех или иных событиях, связанных с взаимоотношениями земных людей и представителей потустороннего мира.

В качестве примера рассмотрим несколько таких мифов, в первую очередь тот, который был рассказан известным энецким сказителем Романом Алексеевичем Силкиным в 1948 году в поселке Воронцово.

События мифа относятся к каким-то давним временам и разворачиваются недалеко от озера Сиговое (что в районе современного поселка Потапово).

\*\*\*

На одном из стойбищ, жители которого умерли от оспы, появляется старушка по имени Дя Сой. Она настолько старая, что ей пора уйти из земного мира в мир иной. Но бог ее мучает, не дает уйти из земной жизни, так как перед ней стоит важная задача — найти рожденного богами ребенка и воспитать его. Для выполнения этой задачи Дя Сой избрана богом, видимо, потому, что она никогда не умирает и вечно пребывает в виде старушки, дающей глаза всем живущим на Земле людям.

Земная миссия Дя Сой начинается с того, что она на какой-то лайде находит лежащего в траве двухмесячного ребенка. С виду он как настоящий человеческий ребенок. Дя Сой приносит его в чум и дает ему имя Нгуоку (Травка). Старушка воспринимает его как собственного ребенка и радуется, что вот теперь вырастет добытчик и кормилец, хотя и знает, что истинные его родители отнюдь не люди.

Нгуоку растет в чуме старушки очень быстро. Вскоре оказывается, что он обладает качествами, отличающими его от обычного земного человека. Он не чувствует потребности в еде, он изначально чист, так как не рожден человеческой ма-

терью, и к нему не пристаёт никакой земной грех. Ребенок рано начинает интересоваться, кто его родители, и обладает знаниями, которые явно недоступны обычному земному ребенку. Когда же Нгуоку отправляется на охоту, то словно парит по воздуху, не оставляя следов на снегу. Он добывает куропаток и зайцев. Когда приносит добычу в чум, старушка радуется, говоря: "Какой славный у меня сынок!"

Однако вскоре выясняется, что Нгуоку рожден и внедрен в земную жизнь вовсе не для охоты на куропаток. Смысл его земной жизни совершенно иной. Нгуоку начинает встречаться с разумным существом, приходящим с неба, имя которого Диа. Этот Диа выглядит, как настоящий человек, но одежда у него вся блестит. Когда он опускается на землю, то стоит на длинных ногах, на которые надеты лыжи. Диа, оказывается, обладает сильным гипнотическим действием. При встрече с Нгуоку он открывает глаза, и мальчик чувствует дрожь в теле. Диа не только учит мальчика, как охотиться, но и открывает перед ним некоторые тайны: Нгуоку, оказывается, рожден небесным богом Нга Нью и богиней подземного мира Дя Каты. Поэтому он не земной человек, а чистый, то есть богочеловек. Когда вырастет, станет богом среднего неба и будет распоряжаться жизнями и смертями земных людей. После трех встреч с Нгуоку Диа навсегда уходит на небо по Млечному пути.

Мальчик же по-прежнему живет в чуме старушки Дя Сой. Его не покидает мысль о родителях: так хотелось бы увидеть мать и отца. Однако осуществить эту мечту непросто. Боги Нга Нью и Дя Каты хотя и появляются на Земле, однако тут же исчезают, увидев кого-нибудь. К тому же в голову мальчика вкрадывается сомнение: может, его мать все-таки Дя Сой, ведь она же нашла его в траве и приютила. Это сомнение усиливается тогда, когда Нгуоку в лесу встречается с Парнэку, дочерью Дя Сой. Она, оказывается, знает тайну рождения Нгуоку. Завязывается спор о родителях, но Нгуоку при помощи огня избавляется от Парнэку.

Проходит время, Нгуоку становится юношей, однако встретиться с матерью и отцом ему так и не удается. Старушка Дя Сой, предчувствуя свой близкий уход из земной жизни, дает совет: ему надо лечь на то же место, где родился, и дожидаться, когда Нга Нью и Дя Каты придут друг к другу на свидание. Вот тогда надо схватить их обоих и не отпустить, что бы там ни произошло.

Дав такой совет Нгуоку, Дя Сой прощается с ним и уходит из земной жизни, но не навсегда. Когда какие-либо мужчина и женщина вступят в брак и у них будут рождаться дети, Дя Сой обязательно будет при этом присутствовать, чтобы невидимым образом давать глаза каждому родившемуся ребенку.

Нгуоку же теперь остается на Земле один, и главная его цель — встретиться со своими божественными родителями. На оленях, подаренных Диа, Нгуоку приезжает на то место, где обычно сходятся Нга Нью и Дя Каты, в надежде увидеть их. Действительно, боги уже пришли. Они весело разговаривают, смеются, с виду как будто жених с невестой. Нгуоку, подехав поближе, останавливает упряжку, подходит к своим родителям. Только теперь он ясно увидел, как они выглядят. У отца Нга Нью одежда, как облако, а на груди и спине сверкает по одной звезде. Мать Дя Каты одета в зеленую парку, красивую, как чистая растущая трава.

Нгуоку схватил мать за руку. Отец в этот момент хотел улететь на небо, но сын успел поймать его за подол. Мать и отец хотят вырваться из рук сына, но у него оказывается достаточно сил, чтобы удержать за Земле этих богов. Успокоившись, мать и отец признаются, что именно они родили Нгуоку. Отец Нга Нью сказал сыну:

— Ты будешь жить между нами, будешь невидимо ходить по Земле, а если захочешь, то и на небо поднимешься.

Земные люди будут тебе поклоняться. Я буду видеть тебя, буду раскрывать тебе божественные тайны. Мать тоже тебе поможет.

Выслушав эти слова, Нгуоку отпустил мать и отца, и они тут же исчезли. Он же, оставшись один, сделал человекоподобного деревянного идола и поставил на то место, где сам родился.

С этого момента Нгуоку стал богом среднего неба и приобрел власть распоряжаться жизнью и смертью любого земного человека. Энци считают, что у него теперь имя другое — Шизина Базаси Нга — Нас Воспитавший Бог.

Этот миф показывает, что стремление богов внедрить своего посланца в земную жизнь и наделить его функцией, связанной с существованием энцев, завершается благополучно.

Но есть мифы, где божественные акции подобного рода терпят поражение. Внедренное в земную жизнь небесное существо либо вступает в неразрешимый конфликт с людьми земной цивилизации, либо вообще погибает от рук человеческих и досрочно уходит из земной жизни, не выполнив никаких задач. Рассмотрим два мифа.

В одном из них рассказывается о старике и старушке, которые жили на берегу реки, питаясь одной только рыбой. Когда рыба перестала ловиться, старик пошел на святилище, где стояли идолы и проводились жертвоприношения. Дойдя до этого места, старик увидел висящую на лиственнице позолоченную люльку, в которой плакал недавно родившийся ребенок. Старик снял люльку, посмотрел на ребенка и обрадовался, говоря: «Вот теперь будет у меня сын, а то всю жизнь прожил с бездетной старушкой».

Старик, сияя от радости, вернулся на свое стойбище. Старушка распеленала ребенка, чтобы осмотреть его, и чуть не расплакалась от радости. Старик тут же пошел рыбачить и рыбы поймал очень много.

Небесный ребенок рос не по годам, а по дням. Вскоре стал ходить на охоту, добывать зайцев и куропаток. Через какое-то время ему, как и тому Нгуоку, захотелось повидаться со своими небесными родителями. Он, отпросившись у стариков, пошел на то же святилище. Однако встретиться с родителями ему не удалось. Небесный парень увидел, что к святилищу подъехало несколько оленеводов, которые привели с собой оленей, для того чтобы забить в качестве кровавой жертвы идолам. Парень залез на вершину одной из лиственниц и проговорил:

— Забейте семь оленей, а еще семь оставьте живыми!

Люди, восприняв эти слова, как повеление бога, сделали жертвоприношение и поехали домой. Парень же пригнал семь оленей к стойбищу стариков. Эти олени стали размножаться, и получилось большое стадо. Теперь старики, казалось бы, достигли вершины счастья: у них был и наследник, и богатство.

Но земные люди есть земные люди. У них никогда не бывает всей полноты счастья и нет предела их стремлению обладать чем-нибудь еще, помимо того, что они уже имеют. Старики, овладев богатством, стали жадными и скупыми. Когда к ним приехали бедные люди просить оленей, старик в ярости прогнал гостей. Постепенно между стариками и их небесным сыном разгорелся конфликт. Закончилось тем, что сын был вынужден покинуть земную жизнь, а многочисленное стадо оленей стало невидимым. Старики же погибли от голода.

В другом подобном мифе мы читаем об одном охотнике, который добывал диких оленей. Однажды он заблудился и, сам того не желая, оказался на месте святилища, где росло семь священных берез. Там охотник нашел новорожденно-

го ребенка, лежащего в меховых пеленках под одной из берез. Он, конечно, обрадовался: в его семье-то детей не было. Охотник принес ребенка в чум, надеясь, что его жена тоже будет очень рада и вырастит сына-наследника.

Но случилось совсем другое. Когда жена охотника распеленала ребенка, то сразу же увидела, то он нечеловеческого происхождения. На его лбу сверкала красная звезда, а на затылке — белая. Конечно, тут же возник вопрос, как быть с этим ребенком? Если старушка Дя Сой приняла небесного сына, смирившись с его нечеловеческим происхождением, то жена охотника поступила по-иному: она решила, что это не истинный ребенок, а дьяволенок, и стала требовать, чтобы муж немедленно утопил его в проруби. Муж стал возражать, говоря, что, может, вырастим сына-кормильца, помощника на старость лет. Но жена настояла на своем, и земная жизнь небесного сына оборвалась в ледяной воде. Итак, попытка небожителей внедрить своего представителя в среду земных людей кончилась полной неудачей, хотя этот представитель, возможно, был предназначен для совершения очень важных дел на Земле, на благо всего человечества.

Наконец, затронем еще одну группу мифов, в которых повествуется о так называемых «железных» людях. Это представители неземного разума, которые время от времени появляются среди людей, живущих на Земле. Они, как правило, враждебно настроены по отношению к людям. Смысл и задачи их появления на Земле неизвестны, их поведение кажется странным с точки зрения человеческой логики. Их внешний вид вызывает удивление. Например, в мифе «Моррэдэ и сказочные люди» один «железный» приходит в чум жены охотника Моррэдэ. Похоже, он спустился с неба, так как нигде не видно следов. «Железный» входит в чум, садится на постель, не говоря женщине ни одного слова. Его лицо закрыто железом. Одежда на нем, как рыба чешуя, но металлическая и светится, как серебро. Пришелец какое-то время сидит в чуме и молчит, а потом выходит. Летая по воздуху, он несколько раз встречается с охотником Моррэдэ, причина ему неприятности.

\*\*\*

Поскольку мифов о «железных» людях записано мало (а в настоящее время среди энцев уже, наверное, не осталось сказителей, знающих подобные мифы), то трудно дать правильную интерпретацию, нет возможности четко определить, о каких людях идет речь. Весьма заманчиво было бы сделать вывод, что «железные» люди — это экипажи летающих тарелок, прибывших на Землю либо из далекого космоса, либо из мира иной физической реальности. Но, возможно, есть другое объяснение. Известный этнограф Б. О. Долгих допускал, что сказочные люди в энецком фольклоре могут быть отражением давних встреч тундровиков с русскими казаками в кольчугах и шлемах. Правда, при этом остается непонятным, как эти сказочные люди могут летать по воздуху или становиться невидимыми.

Энецкий фольклор таит в себе много загадок, которые, возможно, никогда не будут разгаданы. Устное народное творчество энцев находится в стадии угасания, особенно в части мифов, легенд и исторических преданий. Знаменитые сказители ушли из жизни. Можно допустить, что большое количество мифов утеряно навсегда. Будь они записаны вовремя, сегодня мы имели бы более полное представление о сути звездных мифов.

## Галина КОЖЕВНИКОВА

По профессии журналист.  
Долгое время работала в окружной газете "Таймыр"  
и в окружной телерадиокомпании.  
Сейчас работает в администрации округа.  
Живет в Дудинке.

*По итогам литературного конкурса  
имени Огдо Аксеновой*

### В ПРЕДЧУВСТВИИ ТАЛАНТОВ

Одним из наиболее ярких и значительных событий в культурной жизни Таймыра осени прошлого года стал литературный конкурс на соискание премии имени Огдо Аксеновой — долганской писательницы и поэтессы. И это не дежурная фраза, призванная прикрыть не слишком удавшееся мероприятие. Это факт, с удовлетворением отмеченный всеми заинтересованными сторонами — жюри, конкурсантами и читателями.

После подведения итогов 1996 года дальнейшая судьба творческого соревнования вызывала тревогу: вдруг конкурс так и не выявит яркие дарования, а выродится в казенное мероприятие для "галочки" в отчете? Тогдашние работы, присланные на творческое соревнование, давали основание для таких тревожных прогнозов.

По счастью, они не оправдались. В 1997 году свои работы прислали уже одиннадцать авторов. И каких! Их имена давно известны таймырским и норильским читателям: это Владимир Эйснер, Сергей Лузан, Николай Сахно, Владимир Солдаков, Юрий Бариев, Анатолий Левенко, Николай Попов. Порадовали и совсем молодые литераторы, чьи работы не менее интересны, — Виктор Самуйлов, Нина Ковальчук, Дарья Зуева, Матвей Чарду.

Оказывается, недостатка в дарованиях на Таймыре нет, и организация литературного конкурса Управлением культуры администрации Таймырского автономного округа пришлась как нельзя кстати для пишущих и творческих людей, жаждущих не столько денег и славы, сколько внимания читателей. В самом деле, зачем сочинять стихи и романы, если их никто не читает?!

Кстати, не только стихи, рассказы и очерки поступили на суд комиссии, но и песни, пьеса, переводы, критика. Поскольку эти жанры не предусмотрены Положением о конкурсе, работы данных авторов были исключены из списков претендентов. А жаль! Этот вынужденный шаг, на мой взгляд, свидетельствует о несовершенстве пресловутого Положения. Сама литература как способ осмысления мира предлагает нам огромное разнообразие творческих форм, в которые выливается вдохновение.

Надо очень уж подняться и воспарить над особенностями каждого жанра, чтобы сравнивать литературные достоинства, скажем, пьесы и документальной повести, ли-

рической поэмы и художественного очерка, рассказа и критической статьи. Выбирать в этих условиях одного победителя представляется мне делом чрезвычайно сложным. А если другой автор в своем любимом жанре неподражаем и непревзойден? А если члены конкурсной комиссии не сочувствуют, скажем, драматургии как жанру? Есть в этом подходе какая-то прямолинейность, жесткая заданность, которая, при всем желании, никак не может служить определению талантливости произведения или одаренности автора.

Это почувствовали и об этом высказались все члены конкурсной комиссии, однако совершать революцию в Положении не спешили. Надо бы, конечно, ввести номинации, скажем, литературной критики, драматургии, перевода, однако это означало бы резкое "удорожание" конкурса. Увы, этого пока мы себе позволить не можем.

И все же за разделение поступающих на конкурс творческих материалов на две категории (номинации) проголосовали единогласно, поручив Ю. И. Градинарову — начальнику Управления культуры административного округа — добиваться увеличения финансирования конкурса на еще одну премию. Теперь поэзия и проза будут рассматриваться отдельно, и таким образом в конкурсе-98 будут два победителя: поэт и прозаик.

Другая рекомендация жюри касалась двух авторов: Владимира Солдакова и Николая Сахно. Первый долгое время работал в окружной газете "Таймыр", он и сейчас тесно сотрудничает с редакцией, являясь собственным корреспондентом "Заполярного вестника" по Таймыру. Второй, Николай Сахно, — норильчанин и литератор со стажем. Оба они представили на конкурс документально-художественные очерки о людях Севера, их судьбах, радостях и бедах.

Эти материалы идеально соответствовали условиям другого конкурса, объявленного осенью прошлого года, — журналистского, на соискание премии ненецкой журналистки и писательницы Любви Ненянг. С разрешения авторов они и будут на него представлены.

Вернемся, однако, к литературному. Его особенностью стало расширение географии и возрастного диапазона участников, что, безусловно, не может не радовать. Норильское литературное объединение "Надежда" представило сразу четырех авторов: Юрия Бариева, Сергея Лузана, Николая Сахно и Дарью Зуеву. Первые два прислали несколько циклов стихов, посвященных Северу, Таймыру, Норильску.

О Николае Сахно мы уже говорили выше, а вот Дарья Зуева — новое имя. Она ищет себя именно в литературной критике. Ее работа "Цвет и образ "Гнездовья выюг" (так называется коллективный сборник стихов норильских поэтов) — это попытка исследования творчества на основе цветовых ощущений, вызываемых поэтическими образами. Попытка интересная и многообещающая, если учесть юный возраст критика — она выпускница Норильской многопрофильной гимназии № 4.

Особо хочется отметить хатангцев. Кроме известного в округе (и не только в округе) Владимира Эйснера, свои работы прислали Матвей Чарду и Нина Ковальчук. Это стихи — пожалуй, самый сложный, но и самый привлекательный вид литературного творчества (не каждый, кто

наделен поэтическим даром, становится поэтом, но почти каждый в юности пробовал выразить свои чувства стихами).

Стихи становятся потребностью, необходимой частью жизни, условием духовного существования. Особенно когда беспредельность мира сужена до размеров небольшой квартиры — Матвей Чарду заперт в ней своей слепотой. Он создал собственный мир, полный звуков: поэтических и музыкальных. Душа его ищет гармонии и радости. И находит, вот что главное. Спасибо этому человеку, являющему пример упорного сопротивления жесткому и холодному жизненному материалу, пример творческого горения и мужества.

Стихи Нины Ковальчук тоже рождались в одиночестве и в попытке преодолеть его таким вот интересным способом. Не все стихи в ее подборке одинаково хороши, многие требуют просто технической доработки, если можно так выразиться по отношению к столь деликатному предмету. Но в них есть главное — искренность, свежесть и глубина чувств. И какая-то щемящая сентиментальность, особенно трогательная на фоне беспощадно-иронических интонаций поэтов-мужчин, того же Сергея Лузана, например.

О Владимире Эйснере разговор особый, быть может, отдельный, в другом материале. Его имя хорошо известно читающей публике, причем именно она, публика, отмечает возрастающее мастерство и оригинальный, на особицу, стиль этого литератора. Он мог бы стать победителем второго конкурса имени Огдо Аксеновой, его шансы с Сергеем Лузаном были равны, и победу последнего определил один голос.

Всего один голос! При всем стремлении к объективности, ее и быть не может в таком деле, как оценка литературных произведений. Личные пристрастия и симпатии членов жюри всегда играют определенную роль в случаях, когда есть место выбору. Другое дело, если этого выбора нет. В нашем случае он был, и спор о судьбах таймырской литературы был достаточно горячим. Только голосование и определило победителя конкурса. Думаю, что у Владимира Эйснера есть прекрасный шанс отыграть победу в нынешнем году.

Этими тремя именами не заканчивается список литературных имен Хатангского района. Помнится, интересно заявляла о себе Акси́нья Рудинская, привлекла внимание Наталья Поротова, есть что предложить Валерию Федулову.

Наверняка мои знания о здешних литературных силах неполны — к сожалению, сломалась когда-то отлаженная и эффективная связь окружной газеты с читателями всех районов округа. Нынешнему составу редакции приходится начинать все сызнова, и первые шаги в этом направлении уже сделаны.

И, наконец, несколько слов о победителе — Сергее Лузане. Строго говоря, он норильчанин только по прописке. Долгое время жил и работал в округе, главным образом, в поселках. Особое место в его жизни занимает тундра, где он долгое время работал промысловиком.

Он и сейчас много времени проводит в тундре: рыбачит, охотится не хуже местных жителей. И делает это не из озорства или азарта — просто по-другому не может. Труд-

ная мужская работа, общение с природой и людьми стали неперенными условиями его творчества, материалом для его стихов, рассказов и очерков, стимулом для вдохновения.

Оттого-то, наверное, столь полнокровны и наполнены жизнью его стихи и проза, и от этого же — беспощадно правдивы. Его лирический герой — не томный и робкий юноша, вздыхающий о возлюбленной при луне, а мужчина, знающий себе и людям цену, жесткий, ироничный, решительный. Но где-то глубоко на дне его немигающих глаз запряты боль и нежность. И страх, что кто-то обнаружит эти чувства — свидетельства уязвимости человеческой души, симптомы сердечной ранимости. Словом, это Поэзия со всей ее многослойностью ощущений, образов, мыслей, настроений...

...Все работы участников конкурса на соискание премии имени Огдо Аксеновой переданы в литературный музей окружной библиотеки. И каждый, кто интересуется творчеством местных авторов, может познакомиться с ними поближе и высказать свое суждение на страницах окружной газеты.

А конкурс продолжается и, будем надеяться, станет новым откровением для всех, кто любит поэзию, кто любит литературу, кто ценит вдохновение и талант наших земляков.